



Луи Мортимера-Терно

**История террора
1792-1794 гг. Том
четвертый**

Луи Мортимера-Терно

**История террора 1792-1794
гг. Том четвертый**

«Автор»

2026

Мортимера-Терно Л.

История террора 1792-1794 гг. Том четвертый / Л. Мортимера-Терно — «Автор», 2026

Этот четвертый том охватывает решающий период Революции — от трагических Сентябрьских дней 1792 года до первых военных побед при Вальми. Автор разворачивает драматическую картину противоборства двух главных политических сил: умеренных жирондистов, вдохновленных идеями Просвещения и стремящихся к правовому государству, и радикальных монтаньяров во главе с Робеспьером, Дантоном и Маратом, для которых цель оправдывает любые средства. Особое внимание уделяется роли Парижской Коммуны как нового центра революционной власти, противостоящего Конвенту. Книга показывает, как военные успехи при Вальми, остановившие иностранное вторжение, лишь обострили внутреннюю борьбу. Автор беспощадно разоблачает двойную мораль революционеров, провозглашавших права человека и одновременно попиравших их. Том завершается на пороге 1793 года, когда рождается теория «революционной необходимости», оправдывающая массовые репрессии и знаменующая переход к самому кровавому периоду Революции.

© Мортимера-Терно Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Предисловие.	5
КНИГА XIV. — ВЫБОРЫ В КОНВЕНТ.	7
КНИГА XV. — КОНВЕНТ И КОММУНА.	26
КНИГА XVI. — ОТРАЖЕНИЕ ВТОРЖЕНИЯ.	52
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Луи Мортимера-Терно

История террора 1792-1794

гг. Том четвертый

Предисловие.

Четвертый том настоящего труда открывает мрачную и решающую главу Французской революции. Если в предыдущих книгах мы были свидетелями краха старого мира — падения Бастилии, бегства короля и крушения монархии 10 августа 1792 года, — то теперь перед нами разворачивается трагическая драма, где на сцену выходят новые, еще более грозные силы. От кровавого хаоса Сентябрьских дней до образования первого революционного правительства, от священного порога Конвента до победных полей Вальми — все эти события предопределили дальнейший ход истории, где идеалы свободы и равенства вступили в смертельный конфликт с анархией и диктатурой.

В центре повествования четвертого тома лежит сложное и многогранное противостояние между двумя основными партиями — Жирондой и Горой. Конфликт, о котором идет речь, выходит далеко за рамки простых политических разногласий; это борьба за саму душу Французской республики, за то, каким принципам будет следовать новое государство. С одной стороны, Жиронда — это партия умеренных республиканцев, вдохновленных идеями просвещения и стремящихся установить власть закона и порядка. Они борются за создание стабильного государства, основанного на верховенстве права и защите частной собственности. Но, как мы увидим, их главным недостатком становится нерешительность, интеллектуальная гордыня и неумение использовать свою победу, что в конечном счете приведет их к гибели от рук тех, кого они сами же и вызвали к жизни.

С другой стороны, Гора, возглавляемая такими фигурами, как Робеспьер, Дантон и Марат, представляет собой совершенно новый тип политической силы. Это партия действия, для которой цель — спасение революции — оправдывает любые средства. Связанные солидарностью преступления и готовые идти до конца, монтаньяры оказались более дисциплинированными и безжалостными. Именно они, как мы увидим, смогут использовать в своих интересах царивший в Париже хаос, тот самый «густой туман» социальной дезорганизации, который окутал столицу после Сентябрьских дней.

Особое внимание в этом томе уделяется роли Парижской Коммуны — повстанческого органа, который, как феникс, восстал из пепла 10 августа и стал главным соперником и политическим противником Конвента. Именно здесь, в стенах Отель-де-Виля, формируются новые инструменты революционной власти: Наблюдательный комитет, революционные комиссары, посланные в провинцию, чтобы «образумить» их в духе Парижа. Этот процесс, как убедительно показывает автор, вел не к объединению, а к еще большему расколу нации, порождая ненависть между центром и провинцией, которая едва не привела к гражданской войне.

Не менее значимой является и тема военного спасения Республики. Мрачную картину политического разложения сменяет захватывающий рассказ о героической обороне Аргонны. В этой книге мы становимся свидетелями рождения новой, республиканской армии, идущей на смену дезорганизованным войскам старого режима. Искусные маневры генерала Дюмуре, стойкость солдат Келлермана при Вальми — все это показывает, что на смену старой, профессиональной армии приходит новая сила, движимая патриотизмом и решимостью защитить свои идеалы. Эта победа не только останавливает вторжение, но и закладывает фундамент для последующих завоевательных кампаний, которые вскоре изменят карту Европы.

Однако, как это часто бывает, военные успехи лишь усложнили внутривнутриполитическую ситуацию. Угроза вторжения, которая ранее служила клеем, скрепляющим различные политические силы, исчезает. Теперь борьба разворачивается с новой силой. Вопрос о том, кому принадлежит суверенитет — Парижу или восьмидесяти трем департаментам, — становится краеугольным камнем политических дебатов. Именно здесь берут начало споры о создании департаментской гвардии, призванной защитить Конвент от «парижской черни», и формируется тот раскол, который в конечном счете приведет к кульминации — суду над королем.

Структура тома построена таким образом, чтобы читатель мог проследить все взаимосвязи между событиями: от уличной анархии, где хозяйничают мародеры, до высоких парламентских трибун; от циркуляров кровавого Наблюдательного комитета до блестящих речей Верньо и Дантона. Особого внимания заслуживают подробные описания выборов в Конвент, которые, будучи пронизанными духом террора и манипуляций, стали зеркалом, отражающим глубокий кризис доверия к народному представительству.

Автор не скрывает своего неприятия политики террора и апологии насилия. С беспощадной точностью он разоблачает двойную мораль революционных деятелей, которые, провозглашая права человека, сами попирали их каждый день. В этом томе мы видим, как впервые формулируется теория «революционной необходимости», оправдывающая массовые убийства и произвольные аресты. Именно это столкновение принципов и практики, идеалов и реальности, составляет драматический нерв всего повествования.

Четвертый том подводит нас к порогу самого кровавого и, возможно, самого спорного периода революции — к кануну 1793 года. Читатель становится свидетелем того, как рождается новый миф — миф о государственной необходимости, перед которым отступают все нормы морали и права. В этом смысле данная книга — это не просто хроника событий, а глубокое исследование природы власти, насилия и идеологии, которое остается актуальным и в наши дни.

КНИГА XIV. — ВЫБОРЫ В КОНВЕНТ.

I. На следующий день после сентябрьских дней. — II. Реакция против виновников резни. — III. Комиссары исполнительной власти и Коммуны. — IV. Коммуна отрывается от Наблюдательного комитета. — V. Декрет от 20 сентября о восстановлении порядка и личной безопасности. — VI. Выборы в Париже. — Голосование открытое. — VII. Избирательное собрание у якобинцев. — VIII. Депутация Парижа. — IX. Департаментские выборы. — X. Состав нового собрания.

На следующий день после сентябрьских дней Париж представлял все симптомы полной социальной дезорганизации.

Приходилось ли вам наблюдать странное явление, которое иногда происходит в некоторых северных городах? Внезапно, среди бела дня, густой туман окутывает их и погружает в глубокую темноту. Всякая деятельность, всякая жизнь мгновенно останавливается. Вы застигнуты врасплох, вы понимаете, что не можете больше рассчитывать на помощь, которую цивилизация накапливает вокруг вас в обычное время. Напрасно вы призывали бы на помощь соседей, друзей, родных — тьма преграждает путь звуку и свету; никто не видит, никто не слышит. Вы чувствуете, что ваши силы парализованы непреодолимым страхом, вы не смеете сделать шаг ни вперед, ни назад; ибо вы не знаете опасности, которую можете встретить, вы чувствуете себя неспособным предотвратить ее или избежать. Привыкшие жить в ночной темноте, злоумышленники пользуются обстоятельством, чтобы заниматься своим ремеслом с большей безопасностью; они грабят прохожих, взламывают дома и накладывают руку на все, что им подходит.

Солнечный свет освещал столицу Франции, но ее жители были морально погружены в густой мрак; все общественные связи были ослаблены, представления о справедливом и несправедливом колебались, смутные и неопределенные, в помраченных сознаниях. Не знали, к какой власти обратиться за помощью и поддержкой; каждый был предоставлен своим собственным инстинктам, думал только о своей личной безопасности; никто не был уверен, даже на мгновение, в своей собственности, свободе, жизни. Преступление во всех его формах царilo как абсолютный властелин в столице искусств и цивилизации. Париж чувствовал, что возвращается в дикое состояние¹.

Убийцы, работавшие в тюрьмах, их друзья и сообщники, сбежавшие из окрестных городов, воры, которые не убивают, но следят за убийствами, как вороны следят за битвами, карманники, которые обычно довольствуются обиранием живых, но при случае не колеблясь обирают и мертвых, — все эти негодяи, которые обитают в злочных местах и живут только за счет неблагоприятных промыслов, дали себе полную волю. Пена цивилизации поднялась на поверхность и, казалось, захватила все.

Армия зла существует в латентном состоянии в больших городах, особенно в тех, которые уже давно являются ареной революционных кризисов; но в этот момент эта антисоциальная армия естественным образом удвоилась за счет бандитов, которых захватчики тюрем поспешили освободить и присоединить к себе. Париж в течение более восьми дней был буквально отдан на милость воров. Мирные граждане, не чувствуя себя защищенными, не осмеливались защищать себя сами; никакого индивидуального сопротивления не оказывалось попыткам злоумышленников, чья безнаказанность, постоянно возрастающая, увеличивала и их число, и их дерзость.

Днем происходило небывалое зрелище: группы людей останавливали прохожих на улицах, площадях и самых многолюдных бульварах, забирая у них кошельки, часы, кольца. Эти разбои совершались с некоторой регулярностью. Подосланные люди громогласно объявляли, что драгоценности стали бесполезны, что каждый обязан сдать те, что у него есть, на алтарь

отечества, чтобы их переплавили, превратили в звонкую монету и использовали на покрытие расходов на национальную оборону. Появлялись другие люди с весами, которые немедленно применяли на практике теории своих сообщников, торжественно взвешивали захваченные предметы и выдавали жертвам расписки. Эти злодеяния происходили не только в кварталах, чья аристократическая репутация делала их ареной подобных актов гражданственности. Ограбленные были не всегда теми подозрительными, хорошо одетыми людьми, против которых, по морали маратистов, все было дозволено, поскольку они, предположительно, желали торжества врагов отечества. Сборщики этого нового вида налога на роскошь действовали на бульваре дю Тампль и на Галльском рынке, как против рабочих, так и против господ, как против торговцев овощами или рыбой, так и против их покупателей; у застав — против молочниц и огородников. Конфискация производилась с такой грубостью, что нескольким женщинам вырвали уши, потому что они не отдавали достаточно быстро свои золотые или серебряные серьги.

Несколько дней спустя другое преступление выявило отсутствие всякой полиции; материальные воры, почти все освобожденные убийцами, с редким мастерством подготовили нападение на королевский гардероб (Garde-Meuble). Это хранилище тогда находилось в одном из флигелей здания, которое тогда и сейчас занимает министерство морского флота, на углу улицы Сен-Флорентен и площади Людовика XV. Ночью с 16 на 17 сентября, пока лже-национальные гвардейцы наблюдали за площадью и соседними улицами, остальная часть шайки перелезла через колоннаду, взломала окна, взломала двери и шкафы и, наконец, захватила среди награбленных королевских сокровищ все, что можно было легко унести¹.

II

Беспорядок и замешательство были не только на улице, но и, в еще большей степени, в умах. Пресса, чья разумно понимаемая миссия — защищать слабого и угнетенного, просвещать массы и смягчать нравы, не осталась даже безмолвной и подавленной, как огромное большинство парижского населения; она рукоплескала резне, она искала оправдания, оправдания преступлениям, совершавшимся у нее на глазах. Жирондистские газеты, по большей части, проявили не меньше трусости по отношению к убийцам, не меньше подлости по отношению к жертвам, чем листки Марата и его подражателей. Они верили, что, ублажая страсти черни, они сохраняют ту популярность, которую приобрели, понося при каждом удобном случае роялистов и конституционалистов, — популярность, которую оспаривали у них новички и которую они вскоре у них отнимут².

Однако Законодательное собрание, казалось, стыдилось самого себя; оно начинало понимать, что пренебрегло своим священнейшим долгом, не явившись всем составом к убийцам и не умоляя их начать свою кровавую бойню с представителей нации, дабы ознаменовать торжество анархии и уничтожение всех божеских и человеческих законов. Сознывая вечное пятно, которое, в глазах истории, должно было запятнать последние месяцы его существования, оно питало к Парижской Коммуне ту злобу, которую слабость питает к насилию, овладевшему ею и обесчестившему ее. Оно выжидало благоприятного случая, чтобы излить эту злобу; инициатива нескольких смелых граждан вскоре предоставила такой случай.

Несколько секций, где порядочным людям удалось вновь захватить большинство, в торжественных заседаниях заявили о своей готовности заменить бессилие властей в поддержании порядка и восстановлении общественной безопасности. Они предложили образовать между собой и вне всякой муниципальной организации конфедерацию с целью взаимной гарантии от возвращения тех вакханалий, которые только что обагрили кровью Париж. Они взяли под свою особую защиту подписавшихся под петициями восьми тысяч и двадцати тысяч, которым ультра-революционеры каждый день предрекали участь несчастных узников Форс и Аббатства; они потребовали сожжения оригиналов этих петиций, которые были переданы в Национальное собрание.

Секции Мейля, Марэ и Ломбардов, проявившие инициативу в этой мере, обратились одновременно к Законодательному собранию и к Коммуне; но их петиция была встречена этими двумя властями совершенно по-разному. Генеральный совет, верный вдохновениям своего оракула Робеспьера, наотрез отказался удовлетворить ее, потому что было бы неблагоприятно — это дословные слова протокола — поддаваться терпимости, способной погубить общественное дело. Законодательное собрание, напротив, по предложению монтаньяра Шудье и жирондистов Ларивьера и Бриссо, издало следующий декрет:

«Национальное собрание, считая, что в момент, когда все французы берутся за оружие для защиты свободы и равенства, все чувства должны слиться в единой любви к отечеству, а частные распри исчезнуть, постановляет, что оригинал так называемой петиции двадцати тысяч и оригинал так называемой петиции восьми тысяч, а также другие подобные петиции будут сожжены.

Национальное собрание приглашает всех граждан, имеющих эти списки, уничтожить их и объявляет врагами братского союза, который отныне должен царить между всеми французами, тех, кто хотел бы придать этим спискам какую-либо силу».

Но этот призыв к забвению и единству был мало услышан. Многочисленные экземпляры роковых петиций сохранились в архивах демагогии; они вновь нашлись впоследствии, чтобы послужить проскрипционными списками против тех, кто имел наивность поверить в амнистию, торжественно декретированную Законодательным собранием.

III

Собрание, казалось, хотело воспользоваться последними днями своего существования, чтобы хоть немного исправить зло, которое оно позволило совершить своей некомпетентностью и малодушием. Министр внутренних дел в меру своих сил способствовал этой еще очень робкой реакции; он ежедневно приходил на трибуну с жалобами на посягательства на личности и собственность, которые во многих департаментах следовали за появлением некоторых людей, прибывших из Парижа и облеченных званием чрезвычайных комиссаров. И, по странности, достойной этого времени ужасающей анархии, люди, которых разоблачал Ролан, были снабжены полномочиями, подписанными и выданными им самим. В конце августа Собрание уполномочило исполнительную власть посылать в департаменты агентов, уполномоченных ускорять формирование новых батальонов национальной гвардии и заботиться о нуждах национальной обороны. Дантон взял на себя задачу выбора этих агентов¹; его предпочтения, естественно, пали на самых ревностных апостолов маратистских доктрин. Благодаря рассчитанным задержкам, он удерживал их в Париже до 2 или 5 сентября, чтобы они могли увезти с собой циркуляр Наблюдательного комитета, которым власти департаментов приглашались подражать примеру Парижа, то есть истребить одним ударом всех врагов отечества².

Эти лица путешествовали за счет государства в каретах, конфискованных под всевозможными предлогами. У большинства из них было по две миссии в кармане: одна, официальная, подписанная Роланом и его коллегами, предоставляла им право реквизиции и сопровождалась вполне благовидными инструкциями³; другая, исходящая от Наблюдательного комитета Коммуны, давала им приказ перепечатывать и распространять, путем расклейки или иным способом, столь пресловутый циркуляр. Естественно, они не упускали случая проповедовать его доктрины и возбуждать повсюду, где проходили, самые необузданные страсти, самые грубые инстинкты. Они открыто заявляли, что закона больше не существует, что каждый волен, поскольку народ является сувереном, что каждая часть нации может принимать меры, какие сочтет нужными, во имя спасения отечества; что можно устанавливать цены на зерно, захватывать его в амбарах у крестьян, рубить головы фермерам, отказывающимся везти зерно на рынки¹. От захвата урожая до доктрины передела земли, до аграрного закона был один шаг; он был сделан вскоре, и самые подрывные доктрины, отрицающие всякий общественный порядок, стали открыто проповедоваться.

Выходя за пределы своих полномочий, комиссары исполнительной власти и Парижской Коммуны принялись по своему усмотрению смещать избранных народом магистратов, создавать Наблюдательные комитеты, которые они наделяли властью, превышающей власть всех администраций и всех магистратур. Подобные насекомым, которые появляются из земли после грозы², они, казалось, своим появлением порождали мириады существ еще более вредоносных. Их прохождение повсеместно отмечалось как истинное общественное бедствие. Это новое египетское наказание, казалось, не должно было пощадить ни одного департамента, ибо везде были грабежи, везде были проскрипции.

Одним из важнейших предметов миссии, порученной им Дантоном и его друзьями, было оказание революционного давления на избирательные корпуса, которые тогда собирались для выбора депутатов в будущий Конвент. В каждом административном центре, где проходило избирательное собрание, они спешили установить связь с самыми ярыми якобинцами, заранее указанными им парижской материнской ложей и перед которыми они были тайно аккредитованы. Они указывали им кандидатов, которых надо поддерживать, и тех, кого надо отстранять, и, по примеру парижского избирательного собрания, о котором мы расскажем, они старались провести, вопреки закону, систему открытого голосования, благодаря которой во многих местах запуганное большинство пропускало кандидатов от запугивающего меньшинства.

Впрочем, эти странные агенты исполнительной власти не переставали злословить о министрах, от которых они получили свои полномочия. Они не исключали из своих анафем никого, кроме Дантона, в котором, как они говорили, истинные патриоты имели доверие. Везде, где они проходили, они повторяли, что плохие депутаты не будут приняты, что сумеют избавиться от тех, кто не будет действовать в духе Парижской Коммуны.

Национальному Конвенту о миссии некоторых из этих комиссаров. Этот доклад был напечатан по приказу Собрания в очень большом количестве экземпляров для отправки в департаменты и народные общества, что является явным доказательством того, что Собрание полностью его одобряло.

² Это выражение принадлежит Верньо, заседание 17 сентября 1792 г.

³ Город Амьен первым указал Собранию на подлый циркуляр Наблюдательного комитета. Власти других департаментов имели мужество арестовать некоторых из этих апостолов грабежа и убийства и отправить их обратно в Париж под конвоем жандармерии, из бригады в бригаду. Особенно отличилась муниципалитет Кемпера, наложив руку на одного из эмиссаров Наблюдательного комитета, Ройу, известного как Гермёр, и продержав его в заключении до начала марта 1793 года. (См. в конце тома примечание о комиссарах.)

... «Я сожалею, что подписал в совете полномочия, не зная тех, кому я их давал; не потому, что хочу обвинить намерения того, кто выбирал этих лиц, но потому, что можно ошибиться с самыми благими намерениями, как это, по-видимому, следует из жалоб, которые вызвали некоторые из этих комиссаров. Я заявляю это здесь, чтобы, насколько это от меня зависит, ослабить долю доверия, которую могла бы придать моя подпись тем, кто оказался бы способен злоупотребить ею».

Мазюйе, Керсен, Верньо по очереди подчеркивают важность министерского заявления и громят Парижскую Коммуну, откуда вышел сигнал ко всем беспорядкам, позорящим Францию. «Коммуна продолжает систему террора, которая так хорошо ей удалась, — восклицает Мазюйе, — тюрьмы снова заполняются, и большую часть времени неизвестно, кто выдал ордера на арест; богатства, накопленные в домах эмигрантов, в Тюильри, отданы на разграбление; все, что может соблазнить алчность субалтерного агента, реквизируется и исчезает без следа в каких-либо протоколах; драгоценные ресурсы растрачиваются без пользы для нации; средства обороны уничтожены; Париж и Франция отданы во власть самых нелепых безумств и самой ненасытной алчности. Нужен закон, чтобы решить, является ли французская нация сувереном или это Парижская Коммуна».

Керсен требует, чтобы узурпаторская Коммуна ответила головой каждого своего члена за безопасность заключенных. Верньо обрушивается на людей лицемерных и одновременно жестоких, которые проповедуют подлые доносы, произвольные аресты, забвение законов, одним словом, всеобщую анархию, на этих людей, которые аристократизируют добродетель и демократизируют порок, чтобы погубить первую и обожествить второй. Затем, среди всеобщего негодования, он зачитывает дословный текст циркуляра Наблюдательного комитета, который держался в секрете в Париже, в то время как обильно распространялся в провинциях, и завершает свой обвинительный акт против диктаторов Отель-де-Вилля:

«Граждане Парижа осмеливаются называть себя свободными. Ах! Они больше не являются, правда, рабами коронованных тиранов, но они являются рабами самых подлых и самых злодейских людей. Пора разбить эти позорные цепи, раздавить эту новую тиранию. Пора, чтобы те, кто заставил дрожать честных людей, задрожали в свою очередь. Дайте знать Европе, что, несмотря на клевету, которой пытаются заклеить Францию, еще есть, в самом сердце временной анархии, в которую нас ввергли бандиты, еще есть в нашем отечестве некоторые добродетели. Да погибнет Национальное собрание и память о нем, если оно пощадит преступление, которое наложило бы пятно на французское имя! Да погибнет Национальное собрание и память о нем, если на нашем пепле наши преемники не смогут установить конституцию, которая обеспечит счастье Франции и укрепит господство свободы и равенства!»

Эти великолепные слова электризуют Собрание; охваченное внезапным порывом, оно поднимается и повторяет за Верньо: «Да, да погибнем все, да погибнет наша память, и да будет Франция свободна!»

Тотчас же предлагается и принимается единодушными аплодисментами целая серия декретов, которыми постановляется:

1° Что комиссары исполнительной власти обязаны строго придерживаться рамок предоставленных им полномочий, предъявлять эти полномочия всем установленным властям; что, если они откажутся это сделать или позволят себе реквизиции и злоупотребления, они должны быть немедленно арестованы по приказу установленных властей, с обязанностью последних немедленно известить об этом исполнительную власть, которая проинформирует Национальное собрание;

2° Что приостановки и отстранения, которые они могли бы объявить, должны считаться недействительными;

3° Что исполнительная власть обязана немедленно отозвать тех из этих комиссаров, на которых поступили обоснованные жалобы, и потребовать от них отчета об их поведении;

4° Что муниципалитеты не могут ни отдавать приказы, ни посылать комиссаров, ни осуществлять какие-либо муниципальные функции за пределами своей территории;

5° Что всем административным и военным органам, как и всем гражданам, запрещается подчиняться реквизициям, производимым комиссарами, посланными муниципалитетом за пределы его компетенции;

6° Что если отныне подобные комиссары будут производить подобные реквизиции, они должны преследоваться как виновные в оскорблении и бунте против законов;

7° Что министр внутренних дел и комиссар национального казначейства отчитаются на следующий день об исполнении закона, который обязывает их принимать все золотые и серебряные вещи и все драгоценности, поступающие из церквей, так называемых королевских или частных домов, которые должны были быть им переданы представителями Парижской Коммуны, комиссарами секций или частными лицами.

IV

Министр внутренних дел только что признал свое бессилие и некомпетентность. Было суждено, что в этот день Собрание услышит подобные же признания от другого магистрата, также облеченного огромной ответственностью. Едва Верньо спустился с трибуны¹, как у

барьера появляется Петион, ведя за собой многочисленную депутацию Генерального совета Коммуны.

Он начинает свою речь фразой, исполненной нелепой торжественности: «Моя голова всегда была посвящена свободе моей страны; она падет прежде, чем мэр Парижа перестанет выполнять свой долг». Он с самодовольством перечисляет все усилия, которые он приложил для восстановления порядка. Он пытается провести различие между Генеральным советом и Наблюдательным комитетом, которому одному следует приписать последние ордера на арест, так справедливо встревожившие Национальное собрание. Он заявляет, подобно Ролану перед ним, что он бессилен, что у него нет власти; он с горечью признается, что всегда узнает последним о происходящем. Его речь заканчивается фразой, в которой полностью раскрывается этот персонаж, у которого двуличность не исключала глупости: «Все, чего я желаю, — это быть предупрежденным до того, как преступления начнутся; ибо когда они начаты, уже не знаешь, где разместить общественные силы, не знаешь, какое употребление из них сделать, какой язык держать, какие средства применить, и преступление совершается».

Председатель, храбрый Дюбайе, отпускает Петиона и депутацию Коммуны следующими словами: «Собрание, которое уничтожило деспотизм и все еще противостоит тиранам Европы, сумеет встретить кинжалы нескольких злодеев!»

Генеральный совет был предупрежден — и декретами, принятыми один за другим против его комиссаров, и тем приемом, который только что получила депутация в Собрании. Он понял, что настало время окончательно отделить свое дело от дела своего Наблюдательного комитета.

На следующий день после того, как председатель Национального собрания так сурово наставил мэра и сопровождавших его муниципальных чиновников, Генеральный совет на чрезвычайном заседании под председательством самого Петиона вызывает к своей трибуне Паниса, того самого, который позволил себе такое странное злоупотребление властью, введя по своему усмотрению в Наблюдательный комитет членов, не принадлежавших ни к новому, ни к старому муниципалитету. Панис пытается противостоять буре. Он заявляет, что готов представить полное оправдание комитета и доказать, что он и его коллеги никогда не переставали руководствоваться чистейшим патриотизмом.

Петион отвечает ему. Но, верный своей привычке ублажать все партии и менять язык в зависимости от аудитории, он далеко не так откровенен, как накануне перед Национальным собранием. Он готов все незаконные действия, приписываемые Комитету, объяснить непреодолимой необходимостью. Он осмеливается лишь выразить сожаление, что Панис и его коллеги взяли Марата в соратники. Это был первый раз, когда с этим именем, до того всегда рукоплескаемым в этом зале, связались слова порицания. Поэтому Петион делает паузу, чтобы посмотреть, как будут приняты его слова.

Ни ропота, ни протеста не слышно. Ободренный, Петион добавляет: «Этот Марат — безумный меланхолик или величайший враг свободы».

Реакция, происходившая в массе парижского населения и даже в обычной аудитории, заполнявшей зал заседаний Коммуны, была уже настолько заметна, что эти слова были встречены бурными аплодисментами.

Петион, все более ободряемый, считает себя поэтому вправе несколько обобщить свои упреки и выступить против эфемерного торжества этих так называемых патриотов, которые, не неся никакой ответственности, постоянно волнуют народ и поддерживают его недоверие. «В каком ужасном состоянии оказался бы Париж, — добавил он, — если бы богатые люди бежали из его стен, если бы Национальный Конвент, опасаясь остаться здесь, увлек за собой в другой город и исполнительный совет, и все бюро, изменив таким образом центр всех дел и всех лиц, чье содействие питает этот огромный город?» Панис не счел нужным опровергать эти последние соображения, но предпринимает последнее усилие, чтобы защитить своего друга.

«Марат — необыкновенный человек, — говорит он, — стоящий вне общих правил; он не спит, он постоянно занят общественным делом; его опыт, его обширные познания позволили ему предсказать все, что случилось. С пылкой душой, живым воображением, всегда устремленным к одной цели, удивительно ли, что он говорит необыкновенные вещи? Но он был бы первым, кто прикрыл бы своим телом самого преступного аристократа. Он призывал к самым страшным мерам, но это было для того, чтобы утратить злодеев, чтобы спасительный страх отвратил их от их ужасных замыслов... Впрочем, в недрах Наблюдательного комитета Марат никогда не имел особого влияния, его мнение никогда не брало верх над мнением какого-либо другого патриота». Совет прерывает эту дискуссию и спешит принять два постановления, подготовленных заранее и с помощью которых он надеется ввести в заблуждение и Законодательное собрание, которому осталось жить всего несколько дней, и Конвент, который должен прийти ему на смену.

Первым из этих постановлений он объявляет, что: «Те из присоединенных членов Наблюдательного комитета, которые не были назначены своей секцией, не могут своей подписью скреплять никакие акты государственной власти, исходящие от этого комитета».

Вторым: «Он сам признает, что для общественного блага необходимо, чтобы дела пошли обычным порядком; что, следовательно, следует подать петицию в Собрание о том, чтобы уже на следующей неделе секции были созваны для замещения должностей мэра, генерального прокурора Коммуны и для организации муниципалитета; чтобы выборы в Генеральный совет, которые должны были состояться по закону в следующий День св. Мартина, были ускорены; чтобы муниципальные чиновники, назначенные в ноябре 1791 года, могли быть переизбраны на этот раз только на один год»¹.

Эти голосования, на первый взгляд, казались уступкой общественному мнению; на самом деле они вновь узаконивали узурпацию, начавшуюся 10 августа и продолжавшуюся с тех пор благодаря слабости Законодательного собрания.

В самом деле, прося Собрание ускорить примерно на шесть недель выборы половины Генерального совета, мятежная Коммуна приносила не очень большую жертву, но тем самым она добивалась подтверждения еще на год полномочий другой, более чем спорной половины совета и узаконивала все свое прошлое.

V

На этот раз жирондисты поняли, что было в основе предложения Коммуны; их ответ не заставил себя ждать. Он был изложен в законопроекте, который Жансонне от имени Чрезвычайной комиссии представил на утверждение Собрания и который был немедленно принят под названием:

«Декрет о восстановлении порядка и личной безопасности граждан в городе Париже».

Этот декрет, датированный 20 сентября, может считаться политическим завещанием Законодательного собрания. Читая его, чувствуешь в каждой строке, что умирающее Собрание измерило всю глубину бездн бедствий и позора, в которую оно упало; что в свой последний час оно хочет, по крайней мере, попытаться оградить свою наследницу, Конвент, от тех же опасностей и того же позора.

Первые восемь статей декрета подробно описывают все меры предосторожности для выдачи охранных свидетельств, которыми должен был обзавестись каждый парижский гражданин; затем, без перехода и как следствие восстановления порядка, смертный приговор мятежной Коммуне излагается в следующих выражениях:

«Будет произведено переизбрание всех членов, составляющих муниципалитет Парижа и Генеральный совет Коммуны. Эти выборы будут производиться согласно порядку, предписанному законом 1790 года. Они начнутся в течение трех дней после опубликования закона и будут продолжаться без перерыва».

В силу следующих статей, ордера на арест, в случаях, когда закон позволял муниципалитету их выдавать, должны были отныне подписываться мэром и четырьмя муниципальными чиновниками; в течение трех дней их копия должна была отправляться в Национальное собрание с изложением мотивов, вызвавших их необходимость; все виновные или соучастники произвольного ареста, помимо наказания в виде шести лет тюрьмы, предусмотренного Уголовным кодексом, становились солидарно ответственными за возмещение ущерба лицам, произвольно задержанным. Наконец, статьи 17 и 18 впервые устанавливали охранительные принципы личной свободы.

СТ. 17. Жилище гражданина объявляется неприкосновенным, даже во имя закона, в ночное время. Вследствие этого никакой обыск не может производиться в доме гражданина от захода до восхода солнца, кроме случая, когда преступник застигнут и преследуется на месте преступления.

СТ. 18. За исключением случая, предусмотренного предыдущей статьей, всякий гражданин, чей кров хотят нарушить, уполномочивается сопротивляться такому насилию всеми имеющимися в его распоряжении средствами, а виновные в подобной попытке будут преследоваться по требованию государственного обвинителя как виновные в посягательстве на личную свободу.

Эти принципы с 1792 года неизменно вписывались в наши Кодексы. Если с тех пор они грубо нарушались всякий раз, когда произвол заменял собой закон; если в этой стране, где вот уже семьдесят лет ответственность агентов власти не могла быть эффективно установлена, они не были защищены гарантиями, обеспечивающими их у других народов, это не причина быть неблагодарными к Собранию, которое провозгласило их первым. После того как мы заклеями, как они того заслуживают, ошибки и слабости Законодательного собрания, мы счастливы хотя бы похвалить его за то, что оно вспомнило в свой последний час, что несет долю ответственности за ночные обыски 29 августа и обязано человечности блестящим возмещением за ужасные преступления, предвестником которых были эти обыски¹.

¹ Мы не могли, не прерывая нашего рассказа, остановиться на последних сугубо законодательных работах нашего второго Национального собрания. Назовем хотя бы главные, дополняющие работу Учредительного собрания и подготавливающие в наших кодексах работу Конвента:

От 11 августа. — Отмена премии в пользу работоторговли (решительная мера на пути к отмене рабства).

От 14 августа по 14 сентября. — Несколько декретов об общинных землях и угодьях, в пользу общин и граждан, обездоленных в результате феодальной власти.

От 16 августа по 21 сентября. — Многочисленные декреты о прекращении судебных процессов по феодальным делам, об отмене без возмещения некоторых так называемых феодальных прав, о преобразовании других фиксированных и случайных прав в ежегодную ренту, о выкупе должностей при сеньориальных судах и т. д.

От 16 августа по 21 сентября. — Несколько декретов о премиях и поощрениях торговли; о регистрации и обложении предъявительских ценных бумаг; о почте и курьерах; о денежном кодексе и т. д.

От 19 августа и 7 сентября. — Декреты о кассационном суде.

От 25 августа и 3 сентября. — Декрет, запрещающий субституции и провозглашающий равенство наследования.

От 29 августа. — Упразднение главного управления экономических ведомств; упразднение светских конгрегаций и братств и т. д.

От 30 и 31 августа. — Закон о соглашениях между драматическими авторами и театральными антрепренерами.

От 3 по 20 сентября. — Ликвидация долгов бывших провинций и стран Штатов.

От 6 и 17 сентября. — Строительство соединительного канала между Роной и Рейном.

От 11 и 19 сентября. — Распределение средств, предназначенных для награждения работ и открытий, полезных для сельского хозяйства.

От 15 и 18 сентября. — Ликвидация и взыскание возмещений за отмену цехов и корпораций.

От 17 и 18 сентября. — Декреты об организации флота (в двух разделах); о гардемаринах, содержащихся за счет флота; об офицерах и унтер-офицерах.

От 20 и 25 сентября. — Декрет о причинах, порядке и последствиях развода (в четырех главах).

Последняя статья декрета от 20 сентября была сформулирована следующим образом:

«В городах, где будет заседать законодательный орган, приказ звонить в набат и стрелять из сигнальной пушки не может быть отдан без декрета законодательного органа. В случае нарушения настоящей статьи, те, кто отдал такой приказ или кто звонил в набат и стрелял из пушки без приказа, будут наказаны смертью».

Зачем законодатель включил в закон, специально предназначенный для регулирования полиции Парижа, статью, предусматривающую случай, когда местонахождение правительства будет перенесено в другой город? Чтобы ответить на этот вопрос и понять всю значимость угрозы, содержащейся в этой статье, надо обратиться к речи, произнесенной накануне главой парижского муниципалитета перед Генеральным советом.

Петион только что подал в отставку с поста мэра. Он был в ярости против парижских избирателей, которые, после всех данных им гарантий и всех оказанных им услуг демократической партии, дошли, по его собственному выражению, до забвения всех приличий и предпочли ему Робеспьера, Дантона и их друзей. Страхивая прах со своих сандалий в момент ухода из Отель-де-Вилля, где он царствовал целый год, он хотел показать, что больше не хочет иметь ничего общего с неблагодарным городом, который, приняв его в качестве первого магистрата после выхода из Учредительного собрания, не поспешил в 1792 году поставить его во главе конвентской депутации. До тех пор он лавировал между всеми партиями, ублажая и монетариев, и жирондистов. Но перед лицом такого оскорбления, ответственность за которое он справедливо возлагал на своего бывшего коллегу и друга Робеспьера, он забыл свою обычную осторожность. Решительно бросившись в объятия Бриссо и его сторонников, он воспринял их распри и антипатии.

Жирондисты не были федералистами в истинном значении этого слова. Они не помышляли о расчленении Франции, как их позже несправедливо обвиняли. Они, как и их противники, хотели единства и неделимости республики. Только они заботились о том, как сломить превосходство этого великого города, где влияние начинало от них ускользать; опередившись на парижских демагогов для свержения трона Людовика XVI, они хотели разбить оружие своего торжества или, по крайней мере, оставить его в стороне, перенеся местонахождение правительства в другое место. Это была мысль, проявившаяся с интервалом в два дня в Отель-де-Виле устами Петиона и в зале Манежа устами Жансонне; мысль, которая, постоянно возобновляясь и принимая различные формы, должна была больше, чем какая-либо другая причина, способствовать падению жирондистской партии. Ибо, в конце концов, все парижские граждане, к какому бы классу общества они ни принадлежали, каковы бы ни были их мнения, должны были чувствовать себя оскорбленными и в своем самолюбии, и в своих интересах, слыша каждый день один и тот же крик. Во все времена, но особенно во времена революций, ничто так не вредит, как угрозы; надо действовать; этого никогда не умели делать Бриссо и его друзья; это умели делать Марат и его приверженцы.

Каждый день стены Парижа покрывались новыми плакатами, где «Друг народа» проповедовал убийство всех тех, кого он подозревал в намерении противостоять его бешенству, и заранее предавал народной мести «этих людей, заклеянных их негражданственностью, этих

людей, признанных предателями своего отечества, этих развращенных людей, пену Учредительного и Законодательного собраний». — «Французы, — восклицал этот безумец, — чего ждете вы от людей такого склада? Они довершат гибель всего... если вы не отдадите их мечу народного правосудия с того мгновения, как они изменяют своему долгу... Нас предадут со всех сторон... министры, административные органы, генералы, военные комиссары и прогнившее большинство Национального собрания, средоточие всех измен... Необходимо, чтобы Национальный Конвент постоянно находился под надзором народа, чтобы он мог побить его камнями, если тот забудет свой долг»¹.

Именно этими криками дикого зверя поджигатель сентябрьских убийств приветствовал прибытие нового собрания. Он был отвергнут Коммуной, осужден Законодательным собранием, поставлен вне закона как самый отвратительный из злодеев. Но какое ему было дело? Действие законов не могло его коснуться. Он был неприкосновенен; он войдет торжествуя в Конвент, в сопровождении двух главных членов Наблюдательного комитета, Паниса и Сержана; прокурора и заместителя Коммуны, Манюэля и Билло-Варенна, которые обращались с речами к убийцам Аббатства; Дантона, Камилла Демулена и Фабра д'Эглантина, которые столь братски поддерживали в министерстве юстиции своих друзей из мэрии.

Итак, пора рассказать, с помощью какой серии насилий и беззаконий все герои 2 сентября ухитрились сформировать ту слишком знаменитую парижскую депутацию, которая должна была сначала запугать, а затем господствовать в Конвенте.

VI

Для выборов в Конвент была сохранена система двух ступеней декретами от 10 и 12 августа². В соответствии с этим первичные собрания были созваны на воскресенье 26 августа, а избирательные собрания — на следующее воскресенье, 2 сентября. Законы от 22 декабря 1789 года и 3 февраля 1790 года, касающиеся проведения этих собраний, не были отменены; только конституционное различие между активными и пассивными гражданами было упразднено, поэтому избирательные корпуса первой ступени состояли из всех совершеннолетних граждан, имеющих место жительства.

Уже до падения монархии и особенно после 10 августа каждая из 48 парижских секций, как мы видели, приняла обличье суверенного собрания и привыкла исполнять или изменять по своему усмотрению общие законы, издаваемые Законодательным собранием. В республике закон, исходящий из общей воли, должен прежде всего единообразно применяться и соблюдаться; но парижские секции, давая принципу народного суверенитета самое необычное толкование, утверждали, что каждое первичное собрание должно иметь право осуществлять принадлежащую ему долю суверенитета так, как оно считает наиболее мудрым и скорым¹. В связи с выборами в Конвент их дух неповиновения, поддерживаемый и поощряемый самим Генеральным советом Коммуны, проявился с большим блеском, чем когда-либо. Как только секции, сформированные как первичные собрания, должны были заняться выбором выборщиков второй ступени, их увидели, без малейшего уважения к самым формальным положениям избирательного закона, обсуждающими в ультрареволюционном духе самые серьезные вопросы. Те, которые вызвали наибольшие страсти в большинстве секций, были:

Отмена двухступенной системы выборов;

Право остракизма, которое первичные собрания оставляли за собой в отношении выборов, сделанных избирательным корпусом;

Открытое голосование в собраниях первой и особенно второй степени.

Уже 16 августа первый из этих вопросов был поставлен на повестку дня постановлением секции Монтрёй, которая заявила, что она решила больше не признавать избирательного корпуса, и что все выборы, особенно выборы депутатов в Национальный Конвент, должны производиться непосредственно народом. Некоторое число секций присоединились к этому предложению, были назначены комиссары для составления и представления адреса Нацио-

нальному собранию; но обычный составитель этих уведомлений суверенного народа, Колло д'Эрбуа, едва закончил свою работу, как решили не использовать ее. Крестовый поход против двухстепенных выборов внезапно прекратился; предупредили, что Законодательное собрание, конечно, не подчинится первому требованию, и что после его отказа было бы неблагоприятно идти напролом, потому что выборы, проведенные по столь явно незаконной процедуре, были бы оспорены и, возможно, аннулированы избранниками остальной Франции. Зачинщики не захотели рисковать и решили добиться своей цели, обойдя трудность. Существенно было провести в Конвент корифеев парижской демагогии. Способ был не важен, лишь бы успех был обеспечен.

48 парижских секций, собравшихся в первичные собрания, насчитывали 160 000 избирателей; 16 сельских кантонов — около 30 000². Такую многочисленную армию, состоящую из очень разнородных элементов, естественно, трудно было дисциплинировать; демагоги чувствовали, что даже если им удастся устранить от урны, страхом или отвращением, значительное число граждан, их все равно останется достаточно, чтобы нельзя было оказать на них эффективное давление. Число ускользает от запугивания. Крайние мнения не могут долго преобладать в большом собрании людей, а тем более в шестидесяти различных собраниях, голосующих одновременно. Но все обстоит иначе, когда имеешь дело всего с несколькими сотнями человек, собравшихся в одном зале, голосующих публично и в открытую перед тщательно подобранной публикой. Зачинщики и их сообщники находятся там, наблюдая за голосованием и сопровождая аплодисментами или проклятиями избирателей, которые отдают или отказывают в голосе заранее намеченному кандидату. Наконец, есть последнее средство избавиться от некоторых неудобных кандидатов, если, несмотря на все принятые меры предосторожности, такие проскользнули в список избранных депутатов. Поскольку право остракизма существует в специальном законе, регулирующем организацию парижского муниципалитета, почему бы не применить его в случае, не предусмотренном законом, но и не запрещенном им прямо? Почему бы не перенести это право, использование которого когда-то послужило для устранения некоторых демагогов¹, с местных выборов на общенациональные, и которое на этот раз может быть обращено против граждан, чьи таланты, заслуги, прежняя популярность могли бы, несмотря ни на что, по-прежнему привлекать к ним выбор избирателей?

После обсуждения всех этих гипотез, после постановки и решения всех вопросов, программа парижских выборов была определена следующим образом:

1° Больше не будут настаивать на отмене избирательного корпуса, то есть двухстепенного голосования.

2° Заставят выборщиков в первичных собраниях и особенно в собрании избирательного корпуса голосовать открыто.

3° Поместят семь-восемьсот выборщиков второй ступени в зал, подходы к которому давно контролируются и охраняются сообщниками на содержании у диктаторов Отель-де-Виля, трибуны которого заполнены преданными зрителями, атмосфера которого пропитана чистейшей демагогией, одним словом — в зал клуба якобинцев.

4° Оставят за секциями, после того как они законно передадут свои полномочия избранным ими выборщикам, право исключать из парижской депутации избранников, которые не подойдут.

5° Наконец, организуют общую систему террора, охватывающую весь Париж, с помощью домашних обысков, арестов, а если нужно, и убийств, чтобы выборы как на первой, так и на второй ступени проводились под единственным вдохновением и в абсолютной зависимости от мятежной Коммуны.

Эта программа была тайно согласована утром 27 августа. Робеспьер берет на себя задачу провести ее в тот же день через различные инстанции.

1° В принципе, все народные представители должны назначаться непосредственно народом, то есть первичными собраниями; только в силу необходимости обстоятельств принимается метод назначения депутатов Национального Конвента через посредство избирательных собраний.

2° Чтобы по возможности предотвратить неудобства этой системы, выборщики будут голосовать открыто и в присутствии публики.

3° Чтобы сделать последнюю меру предосторожности эффективной, они соберутся в зале якобинцев, а депутаты, назначенные выборщиками, будут подлежать пересмотру и проверке секциями в первичных собраниях, так чтобы большинство могло отвергнуть тех, кто был бы недостоин доверия народа¹.

Вооруженный этим решением, Робеспьер отправляется в Генеральный совет Коммуны; добавляет несколько соображений и превращает его в муниципальное постановление, которое, подписанное Гюгененом и Тальеном, немедленно печатается и расклеивается по всему Парижу. Секции, даже наименее вовлеченные в ультрареволюционное движение, вынуждены подчиниться ему, несмотря на первые проявления сопротивления со стороны некоторых из них².

Мы рассказали в предыдущем томе о событиях, которые в последние дни августа и первые дни сентября повергли столицу в ужас. Мы не будем возвращаться к этой прискорбной истории. Выборы первой ступени состоялись во всех секциях и во всех коммунах департамента с воскресенья 26 августа по следующую субботу. 2 сентября, в день злопамятный, пока звучал набат на Новом мосту, пока шайка Майяра начинала свои подвиги в Аббатстве и Кармелитском монастыре, избирательный корпус собрался в большом зале Епископства, где он уже заседал несколько раз за последние три года, в частности, для выборов в Законодательное собрание.

Сразу после организации временного бюро один из приспешников Робеспьера замечает, что народ должен быть свидетелем всех избирательных операций, что зал, где находятся выборщики, не имеет трибун, и поэтому невозможно продолжать там заседать; он предлагает попросить якобинцев предоставить свой зал в распоряжение избирательного корпуса. Никто не осмеливается возразить против этого предложения, и решено, что выборщики направятся в полном составе, под предводительством Колло д'Эрбуа и Робеспьера, просить братского гостеприимства у Общества друзей свободы и равенства. Последнее, конечно, не могло отклонить шаг, свидетельствующий о таком высоком уважении к нему и делающий его фактически арбитром парижских выборов.

Утром 3-го числа члены избирательного корпуса торжественно направились в свое новое помещение; по пути от Епископства до зала на улице Сент-Оноре им пришлось проходить через Новый мост мимо груды тел, которые в тот же момент палачи Консьержери и Шатле складывали там.

Едва второе заседание открылось, как Робеспьер, который вновь обрел свою трибуну и свою обычную аудиторию, предается своим инстинктам проскрипции. Этот так называемый поклонник народного суверенитета не находит ничего лучшего, чтобы открыть его культ, как предложить исключить из избирательного корпуса всех, кто был связан с антигражданскими обществами или имел неосторожность подписать одну из двух знаменитых петиций восьми тысяч или двадцати тысяч. Это предложение принимается без возражений, и немедленно начинается поименная перекличка 900 выборщиков¹. Каждый из них обязан выйти на середину зала и заявить громко и внятно, да или нет, виновен ли он в действии, которое, хотя и датированное несколькими месяцами ранее, должно, согласно странному решению собрания, порочить избирательный мандат, только что данный ему его секцией¹.

Робеспьеру поименная перекличка кажется удобным случаем, чтобы по своему обыкновению предстать в ореоле героической преданности. «Я спокойно встречу, — восклицает он,

— кинжалы врагов общего блага и унесу в могилу удовлетворение от того, что хорошо послужил отечеству и уверенность, что Франция сохранит свою свободу».

В какой же момент этот жалкий ритор говорит о кинжалах, направленных против него? В тот самый, когда его друзья и коллеги по Отель-де-Виллю заполняют убийствами семь различных тюрем!

4 сентября Колло д'Эрбуа и Робеспьер были единогласно и с аккламацией провозглашены, первый — председателем, второй — вице-председателем избирательного корпуса; Марат, Сантер и Карра были избраны секретарями. Робеспьер должен был быть глубоко уязвлен тем, что ему предпочли жалкого гистриона. Он дал это почувствовать своим друзьям, и на следующий день те удовлетворили его самолюбие, избрав его первым депутатом Парижа. Дантон был вторым, Колло д'Эрбуа пришлось довольствоваться третьим местом; за ними следовали Манюэль и Билло-Варенн.

Порядок выборов, установленный Учредительным собранием для избрания представителей, был тайным голосованием; для избрания требовалось абсолютное большинство; это объясняет, почему избирательный корпус потратил двадцать три заседания на избрание двадцати четырех депутатов и восьми заместителей.

В любом собрании, как бы ни были горячи страсти, через несколько дней неизбежно образуется группа людей, менее пылких, чем другие, которые отказываются следовать до конца за увлечением массы. Некоторое число выборщиков сочли первые пять выборов достаточными для удовлетворения ультрареволюционеров. Они решили отдать свои голоса бывшему члену Генерального совета департамента, который в предыдущем году был избран большим большинством депутатом Парижа в Законодательное собрание, а именно Керсену, которого нельзя было заподозрить в негражданственности, поскольку он был одним из трех представителей, которых Лафайет менее месяца назад арестовал и заключил в крепость Седан².

Но эта попытка сопротивления их суверенной воле сильно не понравилась диктаторам Отель-де-Вилля. Кандидат склонялся в сторону Ролана, Бриссо и других умеренных. Этого было достаточно, чтобы он заслужил формальное и ожесточенное исключение со стороны друзей Робеспьера и Дантона. Они выдвинули против имени Керсена имя Камилла Демулена, близкого друга двух корифеев демагогии.

За шесть дней, что выборщики были в сборе, они никогда не были так многочисленны; никогда одушевление в группах не было так велико; каждый понимал, что предстоящая борьба должна решить вопрос об окончательном освобождении или порабощении избирательного корпуса. Первый тур голосования не дает результата; но Камилл Демулен получил больше голосов, чем его соперник; еще одно усилие — и победа ультрареволюционеров обеспечена. Один из их сообщников просит, чтобы перед вторым туром, а также для всех последующих выборов, была предоставлена возможность обсуждать достоинства различных кандидатов, чего не было для первых пяти избранников. Друзья Робеспьера и Дантона требуют немедленно поставить это предложение на голосование. Всякое обсуждение заглушается их криками, и председатель Колло д'Эрбуа объявляет предложение принятым. Избирательное собрание становится тогда настоящим клубом, где ораторы демагогии дают волю своим страстям, под бешеные аплодисменты трибун, превознося своих друзей и понося своих противников. Керсен¹ становится объектом самых подлых клевет, Камилл Демулен прославляется на все лады. После этого фарса противоречивого обсуждения второй тур голосования дает большинство автору «Революций Франции и Брабанта», тому, кто сам провозгласил себя генеральным прокурором фонаря.

Успех порождает у крайних идею выдвинуть кандидатуру, которую они хотели больше всего, потому что она была наиболее трудной для проведения, — кандидатуру Марата. Хотя и побежденные в лице Керсена, те из выборщиков, кто еще не был запуган интригами и бешенством демагогов, противопоставляют ему знаменитого Пристли, английского ученого, кото-

рому торжественный декрет только что даровал звание французского гражданина за многочисленные сочинения, опубликованные им в защиту Революции.

Робеспьер, который в последние дни тщательно воздерживался от явного желания слишком прямо влиять на голоса Собрания, просит слова по случаю этой последней кандидатуры. Он пускается в длинное изложение научных открытий английского патриота, но заканчивает свой панегирик сожалением о том, что вынужден констатировать, что в прославленном Пристли политик не на высоте ученого. Робеспьер благоразумно не сказал ни слова о Марате, бывшем враче конюшен графа д'Артуа, который заставил смеяться весь Париж своими мнимыми открытиями, прежде чем додумался заставить его дрожать своими кровавыми утопиями. Сообщники понимают, что означает этот расчетливый пропуск; Марат избран.

Можно ли было, не проявляя явной несправедливости, ставить в вину Робеспьеру избрание человека, имя которого он даже не произнес? И тем не менее его двойная цель была достигнута: он сумел доказать своим противникам из Законодательного собрания, что их рекомендация ничего не стоит, если не заручилась его согласием; в лице Марата он вознаграждал организаторов сентябрьских убийств за их готовность выдать ордера на арест против вождей Жиронды, своих личных врагов.

Эти два последовательных поражения убедили самых недоверчивых членов избирательного корпуса в том, что невозможно оказывать малейшее сопротивление назначениям, заранее решенным в тайных сборищах демагогии. Какое мужество, в самом деле, нужно было иметь, чтобы противостоять угрозам двухсот-трехсот бесноватых, облеченных званием выборщиков, чтобы выдержать крики трибун, заполненных обычной публикой клуба якобинцев? И, кроме того, не смешивались ли эти угрозы, эти крики с ревом убийц и предсмертными воплями жертв, эхо которых еще разносилось по тюрьмам¹?

К журналистам Демулену и Марату были присоединены некоторые второстепенные памфлетисты: Ленъело, Лавиконтери, Робер, Фрерон, все тогда смиренные слуги Робеспьера. Последний господствовал над избирательным собранием настолько, что по своему желанию отвергал или избирал любого. Секретарь-архивариус мятежной Коммуны, Тальен, дал достаточно доказательств ультрареволюционерам, чтобы считать свое избрание обеспеченным; одно неосторожное слово против первосвященника демагогии исключило его из списка². У Робеспьера был младший брат, который всегда жил в Аррасе; он выражает желание видеть его заседающим рядом с собой в Конвенте. Это желание является приказом для выборщиков, которые спешат избрать депутатом Парижа этого молодого человека без всякого прошлого, которого никто из них не знает³. Так, едва завладев государственной властью, те, кто выдает себя за представителей новых идей, подражают и преумножают практики старого режима. В 1792 году старший брат распоряжается местом в Конвенте в пользу своего младшего брата; подождем еще немного, и другой выскочка революции посадит своих младших на троны.

VIII

19 сентября было избрано двадцать три депутата. Оставалось избрать последнего. Парижские демагоги согласились поддержать кандидата, который надеялся найти в Конвенте убежище от будущих проскрипций, а нашел там лишь угрызения совести, отчаяние и смерть.

Герцог Орлеанский уже давно отделил свое дело от дела остальной королевской семьи. Это неизбежная тенденция младших ветвей — отличаться от правящей ветви, преувеличивая в ту или иную сторону идеи, волнующиеся вокруг трона. Граф д'Артуа и Конде с самого начала революции объявили себя сторонниками самых реакционных идей. Герцог Орлеанский, напротив, принял сторону нововведений. Граф Прованский сначала, казалось, хотел воспринять конституционные идеи, но вскоре, видя, как трудно ему удержаться в равновесии между двумя крайними партиями, он присоединился к принцам своего дома, которые уже с 11 июля 1789 года сочли необходимым покинуть Людовика XVI и королеву на произвол судьбы. Анта-

гонизм между Тюильри и Пале-Роялем возрастал по мере того, как король оказывался изолированным от остальной семьи.

Однако час от часу революционная буря усиливалась; каждая молния, открывая новые бездны под ногами несчастного монарха, казалось, освещала для герцога Орлеанского заманчивые перспективы неожиданного будущего. После Вареннского бегства было произнесено слово «отречение», упоминалась дата 1688 года; но правнук регента не был Вильгельмом Оранским, он был слишком легкомыслен и неустойчив, чтобы издалека плести обширные и темные заговоры, в чем его так часто обвиняли. Влюбленный в популярность, желающий унижить своих врагов, он был игрушкой жалких интриганов, эксплуатировавших его имя и богатство в своих интересах. Каждый из его фаворитов, каждая из его любовниц толкали его вперед или пытались удержать, в зависимости от страсти или интереса момента.

Незадолго до 10 августа верные и преданные друзья пытались сблизить его с королем; но, казалось, сомневались в его раскаянии, как в другое время пытались сомневаться в его мужестве. Визит, который он рискнул нанести в Тюильри, дал повод некоторым подчиненным для новых оскорблений, которые окончательно его озлобили. Всякое примирение стало отныне невозможным по вине этих неосторожных и слишком усердных слуг, которые, вторично озвучивая обиды своих господ, любят удесятерять значение малейшего замечания или самого интимного признания.

Герцог Орлеанский имел в характере почти столько же нерешительности, сколько и его несчастный кузен Людовик XVI; он не обладал ни одним из качеств, составляющих главу партии. Мирабо, прежде чем сблизиться с двором, подумывал использовать первого принца крови; но он вскоре увидел, что человек не соответствовал той роли, которую он ему предназначил, и принес королеве дань своего, увы, слишком запоздалого уважения. В то же время Лафайет в значительной степени способствовал тому, чтобы герцог Орлеанский покинул свой пост в Учредительном собрании и принял миссию в Англии, которая плохо скрывала изгнание. После его возвращения фельяны и жирондисты систематически отстраняли его от всех комбинаций, которые они могли замышлять в своих тайных собраниях.

Отвергнутый таким образом всеми фракциями конституционной партии, к которым он хотел примкнуть, герцог бросился в объятия самых пылких якобинцев; он слепо отдался советам одного из самых развращенных людей того времени, когда развращение было столь распространено. Шодерло де Лакло, автор знаменитого романа «Опасные связи», составитель петиции Марсова поля, требовавшей отречения Людовика XVI, был Мефистофелем этого нового Фауста. Подобно персонажу древней германской легенды, которую Гёте в тот самый момент готовился воскресить в бессмертной поэме, первый принц крови вызвал адские силы, чтобы восторжествовать над своими врагами; как и он, он испил из отравленной чаши, на дне которой надеялся обрести новую жизнь. С тех пор, увлеченный в пандемониум якобинцев, в водовороте, где толкают того, кто думает, что толкает¹, он не знал ни отдыха, ни покоя. На каждом шагу, который он делал на этом пагубном пути, он думал, но тщетно, что достиг твердой и прочной почвы, откуда, укрывшись от бури, мог созерцать события и видеть осуществление судеб, которые его доверенные лица не раз ему предсказывали.

Прежде чем взять его под свою защиту, диктаторы Отель-де-Вилия наложили на своего нового адепта обязательство отказаться от имени, которое он получил при рождении. Правнук Людовика XIV должен был называться Эгалите в силу решения Генерального совета Коммуны.

Муниципальное постановление было принято 15 сентября, опубликовано в «Мониторе» 17-го, а бывший герцог был избран 19-го. Таким образом, полностью осуществился пакт, в силу которого несчастный принц отныне принадлежал душой и телом людям, которые должны были толкнуть его до бездны цареубийства.

Это назначение было последним важным актом, ознаменовавшим сессию избирательного корпуса. Довольные обладанием мандата, который делал их неприкосновенными, зачинщики

демократической партии уделили очень мало внимания выбору заместителей, которые, однако, все должны были до окончания сессии Конвента занять места, которые гильотина опустошит в рядах парижской депутации².

Выше мы видели, что ультрареволюционеры добились принятия принципа «очистительного голосования», которому в каждой секции будут подвергаться избранные депутаты. Эта мера, по условиям обсуждения, должна была обновить дух суверенитета во всех членах политического тела. Но она была изобретена только на случай, если некоторым бывшим членам конституционной партии удастся проскользнуть в число двадцати четырех избранников; это была последняя карта, припасенная ловкими зачинщиками Отель-де-Виля. Поскольку парижская депутация вышла из избирательной урны чистой от всякой античной примеси, мера предосторожности стала, естественно, ненужной. Некоторые секции, верные первоначальной программе, заявили, что одобряют выбор избирательного корпуса, многие другие воздержались; официального подсчета этих голосов не производилось. Сессия избирательного корпуса была объявлена закрытой¹, и это стадо выборщиков, которого в течение двадцати трех дней держали в зале якобинцев и которому навязали Колло д'Эрбуа, Робеспьера, Марата и Сантера в качестве проводников и пастырей, было распушено.

IX

В департаментах выборы в Конвент проходили в целом более законным образом. Дух, преобладавший в каждом из восьмидесяти двух городов, где собирался избирательный корпус, сильно влиял на характер операций². В некоторых местах он был откровенно якобинским; гораздо чаще жирондистским, иногда даже конституционным. В ряде департаментов заседанию избирательного корпуса предшествовала месса Святого Духа, отслуженная епископом-присяжным, одним из его викариев или священником-депутатом³.

Желание избранников первичных собраний следовать обычаям старой монархии, их собрание у алтарей старых базилик достаточно указывают на то, что в большей части провинций были еще далеки от принятия идей парижской демагогии, которая уже открыто проповедовала отрицание всякой религиозной идеи.

Первой операцией избирательных корпусов была, естественно, проверка полномочий, данных первичными собраниями. Эта проверка показала, что некоторые из них имели мужество потребовать сохранения монархии и конституции 1791 года и дать своим делегатам мандат голосовать в этом смысле⁴.

Подобные мандаты слишком вопиюще противоречили тогдашнему победившему мнению, чтобы быть принятыми избирательными собраниями; делегаты, ими снабженные, были отвергнуты избирательной урной. Такой же остракизм был применен в некоторых департаментах к подписавшим петиции и протесты против дня 20 июня¹. Это было исполнение пароля, принятого в Париже по вдохновению Робеспьера, разосланного обществом якобинцев всем дочерним обществам и переданного ими избирательным корпусам, на которые они могли оказывать некоторое влияние. В соответствии с другой частью парижской программы ультрареволюционеры попытались заменить законное тайное голосование открытым. Им это удалось только примерно в десяти департаментах². Везде, где это вопиющее нарушение закона было совершено, видно, что оно было принято только по приглашению, то есть по приказу Общества друзей конституции департаментского центра; в Мо — это были три комиссара Парижской Коммуны, которые навязали его на следующий день после того, как убийство семи священников обогрило кровью тюрьмы этого города³.

Некоторые избирательные собрания, считая себя, согласно демократической доктрине, облеченными всей полнотой народного суверенитета в своем округе, подменяли собой регулярные администрации и по своему усмотрению брали на себя все полномочия. Среди тех, кто позволил себе подобные узурпации, следует назвать собрание Устьев Роны, которым председательствовал Барбару. Гордый тем, что 10 августа низверг к своим ногам древнюю монар-

хию, молодой революционер приехал насладиться своим эфемерным триумфом на родину. Он громко проповедовал доктрины, жертвой которых должен был стать через восемь месяцев. По его предложению избирательный корпус Устьев Роны отправил 1200 человек национальной гвардии с пятью орудиями против города Арль, где вспыхнули беспорядки; он постановил, что все расходы на экспедицию будут оплачены государственной казной, и предоставил комиссарам, поставленным во главе войск, власть, которой он сам не имел, — власть отстранять и заключать в тюрьму государственных служащих, которые не подчиняются его приказам или кажутся ему подозрительными⁴.

Избиратели Эр-и-Луара, собравшиеся в Дрё, сделали, по крайней мере, более благородное употребление из моральной власти, которой их обстоятельства облекли. Их предупреждают, что сорок неприсягнувших священников, путешествующих вместе, чтобы отправиться в изгнание и подчиниться закону, арестованы у ворот города и им угрожает смерть; всё собрание поднимается и выходит из места своих заседаний под предводительством своего председателя; толпа расступается перед этим внушительным зрелищем, и сорок несчастных спасены.

Завершим это описание выборов 1792 года рассказом о двух сценах, показавшихся нам характерными. Мы дословно копируем протоколы избирательных корпусов Дромы и Сарты, заседания которых проходили, первый в Валансе, второй в Сен-Кале.

Валанс, 8 сентября.

По предложению одного из граждан, члены бюро надевают колпаки свободы, все выборщики приглашаются водрузить их, и в тот же миг зал представляет собой зрелище длинной вереницы красных колпаков — символа, дорогого всем друзьям равенства.

Сен-Кале, 9 сентября.

Патриотические дамы города введены; их сопровождает отряд национальной гвардии и несколько муниципальных чиновников в шарфах; перед ними идет военная музыка; грации и смех следуют за ними. Радость написана на всех лицах. Дамы становятся вокруг бюро, г-жа Фрожье произносит речь и заканчивает ее, надевая на голову председателя Филиппо колпак свободы. Секретарь, счетчики и другие присутствующие депутаты получают ту же честь от других дам. Председатель отвечает следующими словами:

«Избирательный корпус счастлив видеть, что его патриотические усилия поощряются и одобряются прекрасным полом, который является утешением и усладой рода человеческого. Что касается меня, украшенного рукой граций, я отправляюсь, от имени собрания, дать этим дамам братский поцелуй».

Х

В некоторых департаментах, где честь быть депутатом Конвента не очень ценилась, выборщики вынуждены были выбирать представителями людей, лично им неизвестных; они, естественно, выбирали их из числа парижских журналистов или известных революционеров. Законодательное собрание торжественным декретом от 26 августа даровало звание французского гражданина некоторым иностранцам, которые, по его мнению, хорошо послужили Франции¹. Трое из них, Пристли, Анахарсис Клоотс и Томас Пейн, были избраны несколькими департаментами. Первый отказался, двое других приняли².

Имя журналиста Карра, бывшего заговорщика «Золотого Солнца», друга Ролана, который только что назначил его хранителем Национальной библиотеки, вышло из избирательной урны шесть раз: Сомма, Орн, Эр, Шаранта, Луар-и-Шер и Сона-и-Луара оспаривали честь быть представленными редактором «Патриотических анналов».

Дюбуа-Крансе, бывший член Учредительного собрания, тогда прикомандированный к штабу Южной армии, получил голоса Вара, Устьев Роны и Изеры, где была расквартирована эта армия; Арденны, его родной департамент, дали ему четвертый мандат, который он принял³.

Кондорсе, как и Дюбуа-Крансе, был удостоен четырехместного избрания в Сарте, Эне, Луаре и Эре. Бриссо и он были депутатами Парижа в Законодательном собрании. Но их влия-

ние, бывшее значительным в 1791 году в столице, значительно уменьшилось в 1792 году; ни один из них не смог быть переизбран своими бывшими избирателями. Бриссо был утешен голосами Эр-и-Луара, Эра и Луаре. Петион, который больше не хотел рисковать в парижской депутатии с тех пор, как он не был избран первым, получил только один мандат — от Шартра, своей родины.

Робеспьер был избран в Аррасе одновременно с Парижем, Сийес — в Орне и Сарте, Мерлен (из Тионвиля) — в Мозеле, своей родине, и в Сомме, где он был с миссией; Эро-Сешель, Корсас и Баррер также были избраны дважды.

Из всех департаментов наименее склонным выбирать своих представителей из своей собственной среды был, безусловно, департамент Сена-и-Уаза. Из четырнадцати депутатов, назначенных избирательным корпусом этого департамента, только пятеро принадлежали ему непосредственно и были довольно безвестны; остальные девять были заимствованы из числа знаменитостей столицы, а именно: Трейяр, депутат Парижа в Учредительном собрании; Керсен и Эро-Сешель, депутаты того же города в Законодательном собрании; три журналиста, Мерсье, автор «Картины Парижа», Горса, редактор «Курьера департаментов», и Одуэн, издававший «Всеобщий журнал»; Тальен, знаменитый секретарь мятежной Коммуны, чья кандидатура в Париже была провалена Робеспьером за одно неосторожное слово; Мари-Жозеф Шенье, автор «Карла IX» (так его называет протокол); и, наконец, Дюпюи, автор «Происхождения культов».

Эта мания избирать незнакомых людей породила любопытный инцидент, начавшийся в избирательном собрании Уазы и закончившийся в зале парижских якобинцев. Уаза выбрала своим двенадцатым и последним депутатом некоего Бурдона, названного в протоколе «победителем Бастилии и членом Парижской Коммуны». А среди парижских демагогов было два Бурдона: Леонар, учитель, и Луи-Франсуа, бывший прокурор в Шатле. Когда стало известно, что какой-то Бурдон избран депутатом в Уазе, оба однофамильца, оба члена парижского избирательного корпуса, одновременно заявили свои права на эту должность. Они осыпали друг друга самыми яростными обвинениями и утомляли слушателей напыщенным перечислением всех прав, которые, по их мнению, давали им право на голоса народа. Особенно выдвигал Леонар свое избрание в суд 17 августа, доверительную миссию, которой Дантон удостоил его, отправив недавно в Орлеан подготовить отъезд обвиняемых в Верховный суд, свое недавнее назначение на должность заместителя прокурора Коммуны; Луи-Франсуа — услуги, оказанные им отечеству, когда он возглавил волонтеров, разграбивших сокровища замка Шантийи, и когда он вышел навстречу марсельцам в первые дни августа. Ссора грозила обостриться и вызвать скандал, который начинал забавлять недоброжелателей. Общие друзья вмешались между этими двумя гражданами, созданными для того, чтобы понять друг друга. Леонар Бурдон, принадлежавший к секции Финистер, прежде чем стать зачинщиком секции Гравийе, забыл отчитаться в деньгах, доверенных ему бывшими избирателями для закупки зерна; обвинение в растрате, выдвинутое ими, которое даже привело к его исключению из парижского избирательного собрания¹, вовремя заставило его понять, насколько ему выгодно не привлекать к себе общественное внимание. С другой стороны, он узнал, что благодаря влиянию своего друга Ломбар-Лашо, мэра Орлеана, он был избран Луаре. Поэтому он охотно отказался от суетной чести двойного избрания и передал в руки Луи-Франсуа Бурдона столь маловразумительный протокол об избрании Уазой. Луи-Франсуа использовал его, чтобы добиться признания себя представителем населения, которое, возможно, никогда не думало его избирать. Чтобы лучше завладеть весьма спорным мандатом, он добавил к своей фамилии название департамента, которому он так странно навязался; он стал таким образом знаменитым Бурдоном (из Уазы), чье имя кровавыми буквами вписано в революционные анналы.

Конвент, как и Законодательное собрание, должен был насчитывать 749 членов¹. Среди конвентов 75 были членами Учредительного собрания и 183 — членами второго Национального собрания².

Просматривая список депутатов Конвента, удивляешься, находя целые депутации, состоящие из десяти-двенадцати человек, ни один из которых не оставил следа в памяти людей; так сильно было в этом грозном собрании желание стушеваться и скрыть свою собственную личность. Конвентовцы были в большинстве своем набраны из департаментских администраций, которые сами включали много землевладельцев и юристов. Среди них было довольно много офицеров, принадлежавших к старой армии и особенно к привилегированным корпусам — мушкетерам и телохранителям; некоторые из них даже были титулованы, что было для них лишним поводом выказывать пламенный республиканизм.

Конституционное духовенство также было очень широко представлено: 17 епископов, 6 генеральных викариев, 25 кюре или простых священников пришли с самого начала сессии заседать в этом собрании, одним из первых актов которого должна была быть отправка на эшафот короля-христианнейшего³.

¹ 13 сентября («Монитор», стр. 1005) секция Гравийе отправляет к барьеру Законодательного собрания депутацию с жалобой на интриги, волнующие избирательный корпус, в котором зависть безнаказанно вооружается клеветой против добродетельных и патриотичных граждан, не разделяющих неистовство некоторых мятежников. Г-н Леонар Бурдон, выборщик от этой секции, один из представителей Парижской Коммуны и депутат Конвента от департаментов Уаза и Луаре, только что был исключен из избирательного собрания в результате этих интриг. Секция требует правосудия в пользу этого гражданина, который неизменно проявлял чистейший патриотизм и является главным виновником революции 10 августа. Лекуантр-Пюиро и Камбон выступают против этого исключения, которое, по их словам, может заразить пороком все последующие операции избирательного собрания. Камбон добавляет, что Конвенту надлежит рассмотреть петицию Гравийе.

Инцидент не имел последствий. В Конвенте операции парижского собрания не оспаривались ни в отношении выборов, произведенных до 13 сентября, ни после, и Леонар Бурдон был допущен, не оправдавшись от тяжелого обвинения, тяготевшего над ним.

¹ Без учета представителей колоний и присоединенных департаментов, которые впоследствии заседали в Конвенте.

² В конце этого тома приведен список 75 членов Учредительного собрания и 183 членов Законодательного собрания, которые 20 сентября пришли заседать в Конвент.

³ В рядах Конвента также было семь протестантских пасторов.

КНИГА XV. — КОНВЕНТ И КОММУНА.

В силу декретов от 10 и 12 августа Конвент должен был собраться 21 сентября.

Накануне новые народные представители провели подготовительное заседание в зале «Ста швейцарцев» в Тюильрийском дворце. Они поспешили сформировать свое бюро. Почти единогласное голосование отдало председательство Петиону; четыре бывших члена Законодательного собрания, Кондорсе, Бриссо, Верньо и Ласурс, и два бывших члена Учредительного собрания, Рабо-Сент-Этьен и Камю, были избраны секретарями. Все они принадлежали к умеренному мнению.

Вопрос о проверке полномочий мог бы вызвать большие и многочисленные трудности. Присутствующие депутаты, составлявшие не более половины нового Собрания¹, положили этому конец, постановив, что проверка будет касаться только формы протоколов и личности избранных.

Правда, некоторые робкие голоса оспаривали законность выборов, произведенных теми избирательными корпусами, которые вносили ограничения в допуск выборщиков. Но, под предлогом того, что суверенный народ, собравшийся в своих первичных собраниях, хранил молчание о мерах, принятых представлявшими его избирательными корпусами, и тем самым ратифицировал их поведение, все беззакония, совершенные в Париже и некоторых департаментах, были узаконены оптом.

21-го Конвент снова собрался в Тюильри и уведомил об официальном существовании собрание, чьи полномочия истекали. Это означало сказать членам последней легислатуры, не переизбранным в новое собрание, чтобы они освободили зал Манежа, где должны были заседать новые властители Франции, пока королевский замок не будет приспособлен для их нужд¹.

Один из бывших председателей Законодательного собрания, по состоянию здоровья заявивший, что не хочет принимать новый мандат, Франсуа (де Нёфшато), занимал кресло и ждал только уведомления Конвента, чтобы объявить своим коллегам, что их миссия окончена. После этого торжественного заявления бывшие депутаты покидают зал вместе с председателем и направляются в Тюильри, чтобы приветствовать народный суверенитет в лице его новых представителей.

В этот момент Конвент обсуждал вопрос, касающийся как раз собрания, чей мандат только что истек. Было предложено выразить благодарность Законодательному собранию, как оно само выражало благодарность Учредительному собранию, когда пришло ему на смену: «Стараясь обеспечить торжество свободы, — восклицает новый депутат, — наши предшественники лишь выполняли свой долг». Предложение было отклонено по вопросу о переходе к очередным делам.

Таким образом, несчастное собрание, занимающее в истории столь печальное место между Учредительным собранием и Конвентом, влачившее в течение года существование, мало достойное зависти, должно было умереть, не унеся с собой в могилу даже банальной дани официального сожаления.

Франсуа де Нёфшато, введенный в зал «Ста швейцарцев», обнимает Петиона, который отвечает ему взаимностью; затем, в двух напыщенных речах, старый и новый председатели обещают французам, первый, что новое Собрание откроет эру законов, свободы и мира; второй, что он и его коллеги готовы попать ногами все мелкие страсти, унижающие человека, и все презренные притязания зависти и гордости. Оба оратора, надо признаться, были не лучшими пророками друг для друга.

После этого обмена объятиями и официальными речами члены нового собрания покидают Тюильри во главе со своим председателем и направляются через сад к залу Манежа.

При их входе трибуны встречают их несколькими залпами аплодисментов. Но энтузиазм сменяется удивлением, когда обычные зрители замечают, что происходит значительная перемена в распределении мест по обе стороны президентского кресла. Бывшие члены Законодательного собрания, следовавшие за знаменем Бриссо, Верньо и других вождей Жиронды, направляются больше не на скамьи слева, которые они занимали прежде, а направо, туда, где за несколько дней до этого заседали последние защитники конституции 1791 года — Жокур, Жирарден, Матьё Дюма, Бёньо. Они хотят отметить этой переменной места перемену, которая произойдет в их политике. Для них речь идет больше не о разрушении, а о созидании; больше не о том, чтобы толкать массы вперед, а о том, чтобы сдерживать их; одним словом, о том, чтобы противопоставить анархии непреодолимую плотину, за которой могла бы установиться республика, основывающая порядок на вечных принципах справедливости и свободы. Сумеют ли революционеры вчерашнего дня стать консерваторами завтрашнего? Утихнут ли бури, которые они подняли, по их голосу? Смогут ли они сказать народной волне, только что затопившей монархию: «Ты не пойдешь дальше»? Это нам покажут события.

I

Едва один из секретарей закончил читать протокол подготовительных операций, состоявшихся накануне и в тот же день в Тюильри, как несколько новых депутатов спешат занять трибуну и состязаться в красноречии. Манюэль, бывший прокурор-синдик Парижской Коммуны, в напыщенном стиле, который нам уже знаком, сравнивает Конвент с тем, который Квинт Фабий Максим нашел по прибытии в Рим; чтобы дать народу правильное представление о суверенной власти, пребывающей в нем, он предлагает, чтобы тот, кто имеет честь его председательствовать, был размещен в Тюильри, и чтобы всякий раз, когда он появляется на публике, он шел, предшествуемый атрибутами закона и силы.

Это напоминание римской истории льстит лишь безмерному тщеславию бывшего мэра Парижа, которому Манюэль, по обыкновению, только что сослужил службу; но оно мало трогает Конвент, по-видимому, очень не расположенный открывать эру царствования короля Петиона.

Тальен заявляет, что Собранию есть чем заняться более важным, чем пустые церемонии, и предлагает, не откладывая, поклясться не расходиться, пока не даст французскому народу Конституцию, основанную на принципах свободы и равенства.

«Никаких клятв! — восклицает Мерлен (из Тионвиля). — Немедленно примемся за дело!» — «Я не боюсь, — говорит Кутон, — чтобы здесь посмели снова говорить о монархии; она пригодна только для рабов... Но я слышал, не без ужаса, разговоры об установлении триумvirата, диктатуры... Поклянемся в равной ненависти к монархии, диктатуре, триумvirату, ко всякой индивидуальной власти, какой бы то ни было, которая стремилась бы ограничить народный суверенитет». Раздаются аплодисменты. Базир прерывает их, повторяя: «Никаких клятв; их слишком часто нарушали за последние четыре года».

Дантон поднимается и заявляет, что говорит как простой народный представитель, а не как министр, ибо он слагает с себя функции, полученные им под грохот пушек 10 августа. «Вам говорили о клятвах, — говорит он, — нужно, чтобы, вступая на обширное поприще, которое вам предстоит пройти, народ признал по торжественному заявлению, что вы покажете себя достойными его. Чтобы заставить исчезнуть призраки диктатуры, экстравагантные идеи триумvirата, все нелепости, изобретенные для устрашения народа, заявите, что не будет иного конституционного акта, кроме того, который будет принят народом; заявите также, что законы должны быть столь же ужасны против тех, кто их нарушит, как народ был ужасен, сокрушая тиранию; что они должны карать всех виновных, чтобы народу больше нечего было желать; разрушьте все идеи дезорганизации; заявите, что все территориальные, личные и промышленные собственности будут вечно сохраняться. Вспомните затем, что нам все нужно пересмот-

реть, все воссоздать; что даже Декларация прав не безупречна и должна пройти через пересмотр действительно свободного народа...

Поставьте эти великие основы как достойные народа представители, и, после того как вы их поставите, закройте заседание; вы сегодня достаточно сделали для народа».

Хотя предложения Дантона были встречены с величайшей симпатией по существу, они вызвали оживленную дискуссию по форме. Наконец, Национальный Конвент последовательно провозглашает, что не может быть конституции, кроме принятой народом, что безопасность личности и собственности находится под охраной нации, что все неотмененные законы и все неотозванные или не приостановленные власти сохраняются, что существующие налоги будут взиматься как прежде.

Уже несколько ораторов мимоходом требовали, чтобы Собрание торжественно декретировало отмену монархии во Франции. Колло д'Эрбуа восклицает, что Собрание не может, не будучи неверным воле нации, отложить ни на мгновение провозглашение этого великого принципа. «Не монархия, — добавляет конституционный епископ Блуа Грегуар, — а Людовик XVI должен быть наказан. Все династии всегда были лишь пожирающими расами, которые живут только человеческой плотью. Короли в нравственном мире — то же, что чудовища в физическом мире. История королей — это мартиролог народов».

Собрание, убежденное столь неотразимыми доводами, среди самых бурных аплодисментов постановляет:

«МОНАРХИЯ ВО ФРАНЦИИ ОТМЕНЯЕТСЯ»¹.

Конвент временно сохранил все существующие власти; но уже на следующий день он пересматривает это решение. Петиционеры, говорящие от имени секций Орлеана, хотя они представляли лишь ничтожное меньшинство, обвиняют муниципалитет этого города в том, что он своей инертностью и даже соучастием ответственен за беспорядки, вспыхнувшие там 16 и 17 сентября. Дантон настойчиво просит слова. Накануне он дал заверения умеренной партии, добившись декрета об уважении к собственности; сегодня он хочет доказать Горе, что по-прежнему достоин быть во главе якобинской партии. Поэтому он выступает против административных и судебных органов, которые, по его словам, прогнили от роялизма, и предлагает их общую и немедленную отставку; более того, он заявляет, что для завершения социального возрождения необходимо немедленно отменить все условия избираемости на судебные должности и признать, что все французские граждане способны отправлять правосудие и применять гражданские и уголовные законы. «Те, кто сделал профессию судить людей, — добавляет он, — были подобны священникам; и те и другие вечно обманывали народ. Фактически, существующие судьи вызвали законные подозрения, петиционируя против народных обществ, подписывая льстивые адреса исполнительной власти. Доказательства их негражданственности, направленные Дежолу, министру тирании, дошли до его преемника, до меня, министра народа».

Эта идея поддерживается Леонаром Бурдоном, Билло-Варенном и Оссленом; она энергично оспаривается двумя бывшими членами Учредительного собрания, Шассэ и Ланжюине, которые признаются, что еще не привыкли видеть столь серьезные решения, принимаемые с наскока. «Хотят все разрушить, — восклицает Шассэ, — хотят свергнуть нас в анархию! Знаете ли вы, к каким безумствам приведет абсолютное невежество граждан, которых народное голосование могло бы поставить на высшие посты?»

«Собрание, — добавляет Ланжюине, — хочет ли оно принимать законы ежечасно и ежеминутно? Недостаточно разрушать; главное — созидать».

Но тщетно раздаются отдельные голоса, Конвент постановляет:

«Что все административные, муниципальные и судебные органы будут обновлены, и что судьи могут избираться без различия из всех граждан»¹.

Эта дискуссия выявила абсолютную необходимость принятия регламента для ведения заседаний. Ланжюине, указывая на опасности поспешности, с которой было принято предло-

жение Дантона, высказал своим коллегам горькие истины: «Мы погибнем, не успев родиться, — сказал он, — если не примем регламент; берегитесь, если вы не будете вынашивать свои законы, их будут презирать, а вместе с ними и вас».

Благодаря настойчивости бретонского депутата Конвент постановил на своем вечернем заседании 22-го создать комиссию для разработки регламента и предложения разделения Собрания на различные комитеты².

III

Ролан был избран народным представителем от департамента Сомма и мог бы в крайнем случае, как и Дантон, заседать с первого же заседания в Национальном Конвенте. Но его избрание вызывало некоторые споры³, и, в нерешительности, он не знал, следует ли ему выбрать народный мандат или портфель министра внутренних дел. Его жена, естественно, настаивала на сохранении министерства, где, оставаясь в полумраке, она могла проецировать на него отблеск своей грации и ума и, благодаря оптическому эффекту, казаться издали великим человеком. Но в любом случае Ролан должен был дать новому собранию отчет о своем управлении, что он и сделал 23-го числа. Доклад бывшего министра Людовика XVI начинался так:

«Французы питают отвращение к преступлениям дворян, лицемерию священников и тирании королей; королей они больше не хотят. Энергия нации огромна, но ее нужно хорошо направлять».

Чтобы направлять ее, Ролан уверял, что применил величайшие средства. Какие? Все те, которые использовал этот угрюмый и сварливый старик, привыкший к бумажной волоките старого режима и считавший, что выполнил все свои обязанности, когда, по вдохновению своей жены, сочинял прекрасный риторический пассаж и отсылал его директориям всех департаментов с приказом передать его нижестоящим властям.

Доклад министра содержал некоторые очень завуалированные намеки на сентябрьские дни и постоянные узурпации Коммуны. Там говорилось, как бы случайно: «Не следует ли опасаться, что Париж, который так много сделал для блага империи, не станет причиной ее несчастья?» И, чтобы разрешить этот серьезный вопрос, Ролан, среди бесчисленных оценок, высказывал идею, которая уже несколько дней живо обсуждалась в тайных собраниях Жиронды: «Национальный Конвент, облеченный общественным доверием, должен был бы защитить себя от некоторых движений, окружив себя внушительной вооруженной силой, оплачиваемым войском».

Не означало ли это восстановление, для нужд Конвента, той конституционной гвардии короля, которую друзья Ролана заставили распустить за несколько дней до 20 июня¹? Жирондисты были, таким образом, вынуждены прибегнуть к оружию, которое они разбили в руках фельянов. Это явное противоречие не могло ускользнуть от их новых врагов, которые должны были противопоставить им их собственные слова и действия.

Министр, впрочем, только выдвигал проект, который его друзья приберегли для оглашения при первом удобном случае; не развивая его, он спешил перейти к менее острым вопросам. Обозревая все части своей администрации, он заявлял, что госпитали находятся в плачевном состоянии, дороги в плохом состоянии, сельское хозяйство, промышленность, торговля и искусства — в наихудшем положении. «Зло было бы непоправимо, — заключал он, — если бы не подавили анархию, если бы не восстановили внутренний мир, уважение к собственности и повиновение законам».

Отчет Ролана, конечно, не был обнадеживающим. Отчет Камбона, которому финансовый комитет поручил проверить состояние казначейства, был не лучше. Два миллиарда семьсот миллионов ассигнатов были выпущены, и от этой огромной массы фидуциарных ценностей, произведенных за два года, осталась лишь ничтожная сумма, около 24 миллионов; и однако, — добавлял докладчик, — нужды казны неотложны, расходы значительны, налоги не поступают, потому что большая часть их доходов используется в самих департаментах на закупку зерна.

IV

Собрание еще находилось под впечатлением этих двух докладов, когда 24 сентября письмо Ролана сообщает, что город Шалон-сюр-Марн, главная квартира резервной армии и место сбора федератов, только что был обогртен кровью новыми убийствами; что курьер из Страсбурга был арестован и обыскан, и что важные депеши были задержаны на двенадцать часов. Письмо жирондистского министра заканчивалось так: «Пусть Национальный Конвент примет меры!»

Немедленно Керсен бросается к трибуне: «Пора, — говорит он, — воздвигнуть эшафоты для тех, кто совершает убийства, и для тех, кто их провоцирует; пора отомстить за права человека, попранные всем, что происходит во Франции; Конвент поклялся исполнять законы, он взял под охрану нации личности и собственность... Однако беспорядки, убийства распространяются; народ волнуют, толкают к анархии. Без сомнения, ваши сердца, как и мое, возмущаются при рассказе о сценах ужаса, которыми хотят опозорить французское имя...»

Бешеные аплодисменты раздаются в большей части зала; оратор продолжает с новой энергией: «Возможно, нужно больше мужества, чем кажется, чтобы восстать против убийц!... Но даже если бы мне пришлось пасть под их ударами, я буду достоин доверия моих сограждан. Я требую, чтобы немедленно были назначены четыре комиссара для изучения положения империи, положения столицы и для представления вам мер против грабежей и убийств¹».

Керсен только что сказал вслух то, что большинство конвентовцев повторяли про себя, перешептываясь друг с другом, уже три дня. Услышав смелого оратора, все Собрание понимает, что наступил решающий момент. Отречется ли оно блестящей мерой от ответственности за деяния, опозорившие последние мгновения Законодательного собрания, или же, в свою очередь, должно будет склонить голову под игом тех, кто с 10 августа царил в Париже от имени мятежной Коммуны?

Организаторы сентябрьских убийств и их друзья с Горы чувствуют, что могут отвратить бурю, только встретив ее с обычной наглостью. Тальен выступает их рупором. «Как найти, — говорит он, — в этом собрании четырех человек, достаточно точно осведомленных о положении Франции, чтобы предложить меры, способные примирить общественный интерес и права граждан? Законы существуют; судам надлежит применять их. Атакованная извне, преданная изнутри, нация имеет право быть недоверчивой. Те, кто перехватил корреспонденцию, чтобы раскрыть заговоры, совершили акт гражданственности. Вопрос о переходе к очередным делам!» — кричат некоторые монтаньяры. «Отсрочка!» — требуют другие члены левой, менее дерзкие.

«Требовать отсрочки, — восклицает Верньо, — значит требовать безнаказанности убийц! Вывать к вопросу о переходе к очередным делам — значит призывать анархию, значит провозглашать, что убивать разрешено! В Республике есть люди, которые осмеливаются называть себя республиканцами; они сеют подозрения, ненависть, месть; они хотели бы, чтобы французские граждане, подобно солдатам Кадма, перерезали друг другу горло вместо того, чтобы сражаться с врагами отечества. Доказательство того, что законы недостаточны, — это то, что каждый день оскверняется новым преступлением...»

Аплодисменты удваиваются; тщетно трое других друзей диктаторов Отель-де-Вилля — Фабр д'Эглантин, Сержан, Колло д'Эрбуа — пытаются отвратить гнев Собрания. Ланжюине одним словом напоминает им об их преступлении: «Спросите свою память. Кто из нас не знает, что граждане Парижа в оцепенении ужаса...» Смелый бретонец собирается назвать Сентябрь. Гора ропщет, а Тальен восклицает: «Граждане Парижа не в оцепенении!» — «Я желаю, — возражает Ланжюине, — чтобы это слово было не более верно, чем я того желаю; но по прибытии в Париж я содрогнулся».

При этих словах Собрание чувствует, как содрогается в глубине сердца; электрический ток, кажется, пробегает по нему. Со всех сторон слышны крики: «На голосование предложение Керсена!» Но внезапно воцаряется глубокое молчание. Бюзо появляется у трибуны.

Бюзо заседал рядом с Петионом и Робеспьером на крайне левом фланге Учредительного собрания. В течение года, удалившись в свой родной департамент Эр, он занимал там судебную должность и держался в стороне от всех политических интриг. Все с нетерпением ждут, за каким из двух своих друзей, некогда тесно связанных, а ныне разделенных смертельной враждой, он последует. Сомнение длится недолго. С первых же слов оратора ясно, что его выбор сделан, что Жиронда может отныне считать его одним из своих самых решительных членов.

«Чуждый революциям города Парижа, — говорит он, — я прибыл сюда с уверенностью, что сохраняю здесь независимость души. Я доказал это. Республика всегда пользовалась моими симпатиями, и когда в 1791 году боялись произносить это слово, я был здесь, на своем посту, и голосовал за нее. Но эта республиканская душа неспособна склониться перед угрозами, перед насилием людей, чьей цели и замыслов я не знаю. Неужели думают, что мы можем стать рабами некоторых парижских депутатов?»

Бюзо не только поддерживает предложение Керсена, но добавляет к нему предложение, естественно вытекающее из идеи, высказанной накануне Роланом, — о департаментской гвардии: «Ибо необходимо, — восклицает он, — чтобы Конвент был окружен столь внушительной силой, чтобы мы не только не имели ничего опасаться, но чтобы наши департаменты были твердо уверены, что нам нечего опасаться».

Бюзо заканчивает свою речь, формулируя четко и точно три предложения, которые он только что развил:

«Будет назначена комиссия из шести членов, уполномоченных:

- 1° Отчитаться, насколько это возможно, о текущем состоянии Республики и города Парижа;
- 2° Представить законопроект против подстрекателей к убийству и кровавым расправам;
- 3° Отчитаться о средствах предоставить Национальному Конвенту общественную силу в его распоряжении, взятую из всех департаментов».

Никто не осмеливается ответить Бюзо. Друзья мятежной Коммуны вынуждены замолчать. Проект, представленный бывшим членом Учредительного собрания, принимается почти единогласно¹.

V

Вечером, узнав о том, что произошло в Собрании, клуб якобинцев охвачен сильнейшим волнением. Там также две партии противостоят друг другу, ибо Общество бывших друзей Конституции все еще насчитывает в своих рядах некоторое число членов, готовых следовать за судьбой Жиронды. Фабр д'Эглантин, взволнованный поражением, которое потерпели он и его друзья в другом зале, произносит яростную филиппику против Бюзо. Петион хочет защитить своего друга, но ему отказывают в слове; заявляют, что Конвент подал сигнал к гражданской войне. И тем не менее рукоплещут Барбару, когда он объявляет, что восемьсот его соотечественников уже в пути, чтобы прийти на помощь своим храбрым братьям-парижанам и обеспечить господство свободы и равенства. Молодой депутат Устье Роны еще не порвал открыто с ультрареволюционерами; никто не предполагает, что новые марсельцы могут не разделять чувств своих предшественников, слишком знаменитых победителей 10 августа².

Общество расходится, заклиная всех присутствующих депутатов приложить усилия к тому, чтобы на следующий день был отменен декрет, брошенный как вызов парижской депутации.

С открытия заседания 25-го числа монтаньяры, верные обещанию, данному своим друзьям из клуба на улице Сент-Оноре, требуют пересмотра меры, принятой накануне. Пылкий Мерлен (из Тионвиля) начинает атаку и обращает против жирондистов обвинения, которые

те в течение четырех дней бросали в лицо своим врагам. «Декрет, предложенный вчера Бюзо, ведет прямо к установлению диктатуры или триумvirата. Я поклялся бороться против всякой диктатуры и всякого триумvirата. А Ласурс вчера заявил мне, что в недрах Конвента существует партия, имеющая такие устремления. Пусть он их назовет, и я заявляю, что готов заколоть первого, кто попытается присвоить себе подобную власть».

Прямо призванный к ответу, Ласурс упрекает Мерлена в том, что тот вынес на трибуну признания частного разговора. Тем не менее он принимает дискуссию. «Вчера вечером, — рассказывает он, — в публичном собрании я слышал, как две трети Национального Конвента обвинялись в стремлении раздавить истинных друзей народа и уничтожить свободу. В группе, окружавшей меня и членом которой был Мерлен, поносили законопроект, предложенный для наказания подстрекателей к убийству; я сказал и повторяю, что этот закон может утешить только тех, кто замышляет новые преступления. Возражали против предложения вверить Национальный Конвент гвардии, состоящей из граждан всех департаментов; я сказал и повторяю, что Конвент не может лишить все департаменты Республики права совместно охранять национальное представительство. Я боюсь деспотизма Парижа. Я не хочу, чтобы те, кто там распоряжается мнением людей, которых они вводят в заблуждение, господствовали над Национальным Конвентом и над всей Францией. Я не хочу, чтобы Париж стал в империи тем, чем был Рим в Римской империи. Необходимо, чтобы Париж был низведен до одной восьмидесятой третьей доли влияния, как и любой другой департамент. Я никогда не соглашусь на то, чтобы он тиранил Республику, как того хотят некоторые интриганы, против которых я осмеливаюсь выступить первым, потому что я никогда не замолчу перед лицом любого тирана; я имею в виду этих людей, которые, желая любой ценой устранить из Национального Конвента членов Законодательного собрания, чьего сопротивления и энергии они опасались, пытались заставить их перерезать; этих людей, которые в самый день убийств осмелились выдать ордера на арест восьми депутатов Законодательного собрания, не перестававших служить делу свободы».

Это было достаточно ясное указание на диктаторов Отель-де-Виля и на парижскую депутацию, в которой они воплощались. Но Ласурс не считает еще момент подходящим, чтобы сорвать завесу, которую он приподнял; он заканчивает свою бурную филиппику, которую вырвало у него внезапное обращение Мерлена, следующими словами:

«Я никого не называю. Я хочу дождаться, пока люди, которых я обвиняю, дадут мне достаточно доказательств, чтобы показать их Франции такими, какие они есть; тогда я приду на эту трибуну, даже если, выходя, паду под их убийственными ударами».

Но эти осторожности не могут удовлетворить пылкого Ребекки, друга Барбару: «Да, — восклицает он, — да, в этом собрании есть партия, стремящаяся к диктатуре; это партия Робеспьера: вот человек, которого я вам обвиняю».

Бывшие члены Коммуны, их друзья и сообщники были слишком прямо обвинены, чтобы молчать; Оссен, Билло-Варенн, Тальен, Дантон, Робеспьер одновременно просят слова. Трое первых были лишь статистами; Собрание едва их слушает, так ему не терпится услышать объяснения двух корифеев парижской депутации.

Дантон чувствовал себя на шаткой почве; он начинает с призыва к примирению и заявляет, что считает прекрасным днем тот, который приведет к братскому объяснению между всеми членами Собрания. Выступив против смутных обвинений в диктатуре и триумvirате, которые возобновляются, так и не будучи четко и ясно сформулированными, он ловко пытается устранить солидарность, которую пытаются установить между всеми членами парижской депутации: «Я не буду пытаться оправдывать каждого из моих коллег; я не несу ответственности ни за кого. Поэтому я буду говорить вам только о себе». И он перечисляет все услуги, которые, по его мнению, оказал свободе за последние три года.

Затем, следуя примеру, поданному ему несколькими днями ранее членами мятежной Коммуны, когда они, в свою очередь, пытались снять с себя всю ответственность за сентябрьские дни и возложить ее на того, кого Панис подпольно ввел в Наблюдательный совет, Дантон добавляет: «В парижской депутации есть человек, чьи мнения для республиканской партии были тем же, чем были мнения Ройу для аристократической партии: это Марат. Итак, я ссылаюсь на свидетельство председательствующего здесь гражданина, который помнит и угрожающее письмо, полученное мной, министром юстиции, от того, кого представляют как пишущего под мою диктовку, и перепалку, которая у нас с ним была в мэрии¹. Впрочем, этому человеку нужно многое прощать; ибо его душа уязвлена преследованиями, которым он подвергался, жизнью, проведенной за последние три года в подземельях, где он укрывался; но из-за нескольких чрезмерных личностей не будем обвинять всю депутацию. Что касается меня, я не принадлежу Парижу; я родился в департаменте, на который всегда смотрю с удовольствием. Впрочем, принадлежим ли мы к тому или иному департаменту? Мы принадлежим всей Франции».

«Кто говорит о разрушении этого единства? — отвечает Бюзо. — Какая мера может лучше укрепить его, чем та, которую Конвент вчера принял в принципе, — формирование гвардии, состоящей из граждан всех департаментов?»

Дантон только что отделил свое дело от дела своих коллег по парижской депутации и поставил себя, так сказать, под эгиду Петиона. Такая смиренная позиция не могла устроить Робеспьера. Взяв слово впервые с тех пор, как, явившись в качестве простого петиционера, он в этом же зале испытал на себе пренебрежение Законодательного собрания, гордый трибун не должен был упустить столь прекрасного случая выставить напоказ наивные притязания своей всепоглощающей личности. В течение целого часа он перечислял свои революционные деяния. Каждая фраза его речи неизменно начинается так: «Это я сделал то-то, это я сделал то-то». Его несколько раз просят сократить свою апологию, но он не может на это решиться, и Конвент вынужден вынести бесконечный рассказ о великих актах гражданственности, которыми, по его словам, он так часто спасал отечество, ибо он защищает, говорит он, не свое собственное дело, а общественное, которое он скромно отождествляет со своим.

Но когда Робеспьер наконец решает завершить свой панегирик, молодой человек поднимается со скамей правой стороны и среди глубокого молчания громким и твердым голосом говорит: «Барбару из Марселя вызывается подписать обвинение, выдвинутое против Робеспьера». И затем он уточняет факты, на которых основывает это обвинение: «Вспомните патристический заговор, замышленный для свержения трона тирана Людовика XVI. Тогда каждая партия хотела опереться на доблестных бойцов, которых мы привели из Устьев Роны. Ребекки и я были мишенью всех интриг и соблазнов; нас привели к Робеспьеру. Там нам сказали, что нужно сплотиться вокруг самых популярных граждан. Панис назвал по имени Робеспьера как добродетельного человека, который должен стать диктатором Франции. Мы ответили ему, что марсельцы никогда не склонят голову ни перед королем, ни перед диктатором. Вот что я пишу и что я вызываю Робеспьера опровергнуть».

Разоблачив таким образом того, кого он считает главным виновным, молодой оратор нападает на его сообщников:

«Я обвиняю эту дезорганизаторскую Коммуну, которая посылала комиссаров во все части Республики, чтобы командовать другими коммунами; которая выдавала ордера на арест против депутатов законодательного корпуса, против министра, общественного деятеля, личность которого принадлежит не городу Парижу, а всей Республике. Диктатуры не хотят, но почему же тогда противятся тому, чтобы Конвент декретировал объединение граждан всех департаментов для его безопасности и безопасности Парижа. Граждане, эти возражения будут напрасны; патриоты сделают из своих тел оплот для вас; восемьсот марсельцев уже в пути, чтобы участвовать в обороне этого города и вашей. Марсель, который всегда предвосхищал лучшие декреты Национального собрания, выбрал эти восемьсот человек из числа самых пат-

риотичных и независимых граждан; их отцы дали каждому из них по два пистолета, саблю, ружье и ассигнат в 500 ливров; их сопровождают двести кавалеристов, вооруженных и экипированных за их счет. Они скоро придут. Парижане, мы не сомневаемся, примут их по-братски».

Это объяснение новости, которую якобинцы так хорошо приняли накануне, потому что не поняли ее, вызывает ропот крайней левой; но почти всё Собрание разражается восторженными аплодисментами.

Вдруг с вершины Горы раздается восклицание, произнесенное пронзительным голосом: «Это для того, чтобы меня обвинили, я прошу слова!»

При этом крике депутаты оборачиваются, все взоры устремляются на перебившего. Видно, как мечется на своей скамье отвратительное существо, от которого соседи отодвигаются с видимым отвращением, но которое, кажется, с наслаждением вкушает страх, который оно внушает. Его голова повязана грязным платком, бледные губы скривлены в ужасной улыбке, глаза мечут зловещие огни, желтоватое лицо дышит дерзостью и наглостью, жесты судорожны и отрывисты. — «Это Марат!» — восклицают. Его показывают пальцами, с каким-то оцепенением созерцая чудовище, которое парижские выборщики только что извлекли из его логова и бросили в центр Конвента. Однако, после первого мгновения удивления, Собрание понимает, что только спокойствием и достоинством оно может рассеять ужасное явление призрака Сентября. Наступает тишина, и самые точные обвинения формулируются против Парижской Коммуны.

«Я свидетельствую, — говорит Буало, — что избирательное собрание Йонны, делегировав меня навстречу комиссарам исполнительной власти, эти комиссары сказали мне, что Парижская Коммуна захватила все власти, что она решила осуществлять самый активный надзор за всеми актами исполнительного совета и Национального собрания; что она приглашает другие коммуны не доверять администраторам и генералам, а сплотиться вокруг нее!»

«Все это клевета!» — кричит Тальен.

«Я хочу, — говорит Камбон, — засвидетельствовать здесь, перед моими новыми коллегами, то, чему я был свидетелем как член Законодательного собрания; я хочу возобновить перед ними обвинение, которое было выдвинуто перед нашими предшественниками, но на которое у них не было времени ответить. Я заявляю, что видел в Париже расклеенный печатный лист, где говорилось, что нет иного средства общественного спасения, кроме триумvirата. Этот печатный лист был подписан Маратом».

Услышав, что его имя снова произносят, «Друг народа» вскакивает и обращается к оратору; но Камбон не смущается и, намекая на одну из самых мучительных сцен сентябрьских дней, на отставку, поданную Верньо от имени Чрезвычайной комиссии¹, восклицает: «Да, я видел в дни траура, как члены законодательного корпуса, вынужденные дерзкими доносами, приходили сюда, к этой трибуне, чтобы сложить с себя функции, доверенные им Национальным собранием; я видел, как муниципальные чиновники взламывали общественные хранилища, накладывали печати на кассы, принадлежащие нации, завладевали всеми ценными предметами, хранившимися в национальных зданиях, не составляя никаких протоколов об этих изъятиях, и когда декрет предписал доставить эти предметы в национальное казначейство, я видел, как этот декрет остался без исполнения. Я видел, как Парижская Коммуна поставила себя выше законов и отказалась им подчиняться. Разве не существует закона, предписывающего обновление Парижской Коммуны? Она еще не обновлена! Разве законы не обязательны для этой Коммуны, как и для всех коммун Республики? — Вот факты. Отвечайте, вы, отрицающие проект установления диктаторской власти в Париже».

«В Дуэ, — добавляет Фоккеди², где я находился как член директории департамента Нор, эмиссары Парижской Коммуны осмелились произносить самые подстрекательские речи. Они сказали народному обществу: "Воздвигайте эшафоты, пусть бастионы будут усеяны висели-

цами, и пусть тот, кто не будет нашего мнения, будет на них повешен. Парижская Коммуна захватила все власти; одобряйте все меры, которые она примет, и она спасет империю!"»

«В Мо, — добавляет еще один представитель Сены-и-Марны, — два депутата парижского муниципалитета, украшенные своими шарфами, пришли в избирательное собрание и объявили нам, что законов больше нет, что мы вольны делать что хотим, что мы суверенны. Затем они проповедовали народу, и в тот же вечер пало четырнадцать голов. Эти муниципальные чиновники, мнимые друзья свободы, были лишь поджигателями, ворами и убийцами»¹.

После этой лавины фактов, сокрушительных для Коммуны и ее приспешников, Панис получает слово, чтобы ответить на то, что касается его лично в обвинении Барбару. Он противопоставляет своему противнику категорическое отрицание и спрашивает, кто его свидетели.

«Я», — отвечает Ребекки.

«И я, — говорит Барбару». *Здесь в тексте идет повтор, вызванный, вероятно, ошибкой верстки, но смысл ясен.*

«Разве вы не знаете, — говорит Жансонне, — что двадцать третьего августа, то есть за десять дней до этих событий, я предложил в законодательном корпусе декрет, чтобы отныне Коммуна не могла выдавать ордера на арест. Он был принят, но не исполнен. А 2 сентября Панис, Сержан и другие комиссары являлись к нам с оскорбительными требованиями и хотели, чтобы мы приняли их не как членов муниципалитета, а как членов Наблюдательного комитета, столь же незаконного, сколь и кровавого. Затем он попытался очернить Паниса, рассказав, как тот, рано утром 2 сентября, явился к нему домой и стал требовать, чтобы он, Жансонне, подал в отставку, так как он, Панис, имеет право арестовать его как подозрительного. И, чтобы придать больше веса своему рассказу, он прибавил: «Панис сказал мне, что если я не подам в отставку, то он прикажет арестовать меня, а моя голова будет выставлена на пике. Он имел наглость прибавить, что этот приказ уже отдан».

Панис, призванный к ответу, не отрицает фактов, но пытается смягчить их. «Да, я приходил к Жансонне, но не один, меня сопровождали многие хорошие граждане, которые хотели убедиться в его патриотизме. Мы не приказывали ему уйти в отставку, но просили его сделать это. Наши просьбы были столь настойчивы, что он уступил. Затем он сам попросил меня арестовать его, чтобы спасти от ярости народа... Наконец, чтобы защитить его, я взял его под стражу и спас ему жизнь».

Это оправдание, в котором Панис признавал себя виновным в задержании депутата, привело Собрание в крайнее негодование. Верньо потребовал, чтобы было немедленно начато расследование против него и его сообщников. Но Дантон помешал принятию этого решения, заявив, что «было бы несправедливо обвинять людей, которые, может быть, спасли отечество». И он потребовал, чтобы факты были проверены комитетами. Затем, видя, что Панис колеблется, он вырвал у него признание, что миссия, данная комиссарам, была поручена ему, Дантону, министром юстиции.

В разгар этого замешательства Панис поспешил покинуть трибуну. Но один из его коллег по Наблюдательному комитету, Сержан, попытался защитить его. «Мы были вынуждены, — сказал он, — прибегать к мерам, которые, возможно, показались суровыми, но которые были необходимы для спасения страны. Мы думали, что обязаны арестовать всех подозрительных людей, чтобы спасти Республику. Что касается Бриссо, то, хотя я и не был с ним знаком, я получил столько доносов на него, что счел своим долгом проверить эти обвинения. Так я поступил и с другими. Когда я отправился в комитет, мне сказали, что Бриссо собирается уехать в Англию, и я предложил послать к нему комиссаров, чтобы попросить у него объяснений. Мои предложения не были приняты, и я отправился к нему сам, но не застал его дома. Тогда я приказал арестовать его, но приказ не был исполнен, так как он уже уехал».

В конце концов, после долгих дебатов, Конвент постановил, что все меры, принятые Наблюдательным комитетом, будут переданы на рассмотрение Комитета общественной безопасности. Но это решение, вместо того чтобы успокоить умы, лишь разожгло страсти.

VI

Наглость Паниса была велика; но один человек мог превзойти его, один человек мог усилить то неодолимое отвращение, которое Собрание не могло сдержат, слушая бывшего председателя Наблюдательного комитета, бывшего поставщика тюрем Форс и Аббатства, который утверждал, что действовал в интересах личной безопасности граждан, выдавая против них ордера на арест.

Едва этот дерзкий лжец покинул трибуну, как Марат взбирается на нее и цепляется за нее. Крик негодования раздается со всех сторон; Конвент, движимый почти единодушным чувством, хотел бы раздавить под ногами ядовитую рептилию, которая распласталась перед ним и, кажется, бросает ему вызов. Но Лакруа требует тишины. «Необходимо, — говорит он, — чтобы Собрание высказалось лишь после того, как получит все разъяснения, которых ему до сих пор не хватало». Шум утихает; «Друг народа» обводит мутным взглядом различные части зала и начинает так:

«У меня в этом собрании много личных врагов».

«Все, все!» — восклицает почти всё Собрание.

«Итак, я призываю их к стыду, — продолжает невозмутимый Марат, — ибо не пустыми криками, улюлюканьем, угрозами следует отвечать человеку, который посвятил себя отечеству. Обвинения, с помощью которых надеялись бросить тень на парижскую депутацию, я принимаю, но принимаю только на себя, ибо Дантон, Робеспьер и все остальные всегда импровизировали идею диктатуры и триумvirата...

Если кто и виновен в том, что бросил эти идеи в публику, так это я. Я призываю на свою голову месть нации! Но прежде чем обрушить на мою голову позор или меч, соблаговолите выслушать меня...

Когда я увидел, что отечество на краю бездны, будете ли вы ставить мне в преступление то, что я призывал на головы виновных мстительный топор народа? Нет, если бы вы осмелились на это, народ опроверг бы вас; ибо, повинаясь моему голосу, он почувствовал, что предлагаемое мной средство было единственным для спасения родины, и, став сам диктатором, он сумел избавиться от изменников».

На эту бесстыдную апологию сентябрьских злодеяний отвечает долгий крик неодобрения. Жалкий памфлетист едва достаивает показать, что заметил это:

«Я сам содрогался от стремительных и беспорядочных движений народа, когда видел, как они затягиваются; и, чтобы эти движения не были совершенно бесплодными и чтобы ему не пришлось их возобновлять, я потребовал, чтобы он назначил хорошего гражданина, справедливого и твердого, известного своей пламенной любовью к свободе, чтобы направлять его движения и обратить их на благо общественного спасения.

Если бы меня послушали, если бы создали этого диктатора, которому, чтобы приковать его к родине, я хотел приковать ядро к ногам и для которого я не требовал иной власти, кроме власти сносить преступные головы, мы бы сегодня увидели правосудие и свободу, утвержденные в наших стенах. Таковы мои мнения; я их напечатал, я поставил под ними свое имя, я не стыжусь их. Если вы еще не способны понять меня, тем хуже для вас. Меня обвиняли в честолюбивых замыслах, но взгляните на меня и судите».

По мере того как Марат говорил, негодование сменялось презрением. Гротескная фигура кровавого шута вызывает взрыв хохота.

«Друг народа» не смущается; с высоко поднятой головой он проходит через зал и садится на свое место, бросая на коллег вызывающие взгляды. Но на смену этой отвратительной сцене приходит принц ораторов Жиронды; Верньо появляется у трибуны. Пока председатель просит

его подождать, пока волнение немного утихнет, депутат Бордо, погруженный в свои размышления, с изумлением измеряет всю глубину позора, только что нанесенного национальному представительству. Наконец, взволнованным голосом и с горечью он начинает так:

«Если и есть несчастье для народного представителя, то это быть вынужденным заменить на этой трибуне человека, обремененного неотмененными приказами об аресте...»

«Я горжусь этим!» — ревет Марат.

«Говорят ли о декретах Шатле?» — спрашивает Шабо.

«Или о тех, что были изданы в честь него за то, что он сразил Лафайета?» — добавляет Тальен.

«... Человека, — продолжает Верньо, — против которого был выдан декрет об обвинении и который еще смеет поднимать свою дерзкую голову над законом; человека, наконец, всего испачканного клеветой, желчью и кровью».

Затем, не вдаваясь в долгие объяснения, он готовится зачитать документ, который уже несколько дней назад денонсировал в Законодательном собрании; он разворачивает экземпляр пресловутого циркуляра Наблюдательного комитета¹. При этом зрелище Гора с бешенством требует перехода к очередным делам, трибуны топают ногами от гнева; но правая и центр поддерживают оратора жестами и голосами. «Нужно покончить с этим, — кричат, — хорошо бы всех их знать». Верньо перечитывает эту кровавую страницу, которую можно было бы датировать адом, затем напоминает, что в самый вечер убийств Робеспьер обвинял перед Коммуной мнимый заговор, который должен был выдать Францию Брауншвейгу, и в который он бесстыдно впутывал самого Верньо, а также Дюко, Бриссо, Гюаде, Кондорсе, Ласурса и других.

При этих словах Робеспьер встает и восклицает: «Это ложь!» — «У меня есть доказательство», — отвечает другой член¹. Верньо добавляет: «Поскольку я говорю без горечи, я приму опровержение, которое докажет мне, что и Робеспьера могли оклеветать».

Жан Дебри предлагает передать инкриминируемый документ специальной комиссии и, перейдя к очередным делам по всем обвинениям, заняться основами Республики. Но Буало, тот самый, который уже в начале заседания рассказывал о проповедях комиссаров Коммуны, посланных в Йонну, приходит обвинить новое сочинение Марата: «Вот что, — говорит он, — этот леопард пишет своими когтями, окрашенными в кровь²: "Если в течение первых восьми заседаний Конвента не будут заложены основы Конституции, не ждите больше ничего от ваших депутатов; вы погибли навсегда... О болтливый народ, если бы ты умел действовать!"»

«В Аббатство! В Аббатство!» — кричат со всех сторон³.

«А я, — добавляет Буало, — требую, чтобы это чудовище было предано суду».

Марат стоял у подножия трибуны, невозмутимый и улыбающийся; он, казалось, сожалел о гневе и волнениях, которые вызвали его писания. Как только Буало закончил говорить, он просит слова. «Пусть он объяснится у барьера!» — кричат с разных сторон. Не смущаясь, «Друг народа» просит Собрание не предаваться приступу ярости, а лучше спокойно выслушать первый номер его новой газеты, которую он только что основал под названием «Журнал Французской Республики»: «Статья, прочитанная Буало, датирована десятью днями ранее; я написал ее, когда увидел, что в Конвент назначены люди, которых я обвинял как общественных врагов, когда боялся увидеть торжество этой жирондистской фракции, которая преследует меня сегодня. Но неоспоримым доказательством того, что я хочу идти с вами, с друзьями родины, является статья, которую я сейчас прочитаю. Тогда вы сможете судить о человеке, которого обвиняют перед вами».

Собрание постановляет, что чтение, требуемое Маратом, будет произведено секретарем. В этой статье «Друг народа» сам себя превозносил за свою проникательность, патриотизм и бескорыстие, заявляя, что хочет принести в жертву священной любви к отечеству свои предрассудки и ненависть.

По окончании чтения Марат, не покидавший трибуны, с новым апломбом заявляет, что гордится всеми декретами об аресте, изданными против него Учредительным и Законодательным собраниями: «Эти декреты, — восклицает он, — народ уничтожил, призвав меня в свои ряды, ибо мое дело — его дело. Если бы, впрочем, мои враги вырвали у вас новый декрет об обвинении, я был готов пустить себе пулю в лоб у подножия этой трибуны».

Немедленно он вытаскивает из кармана пистолет и приставляет его ко лбу; но, видя, какое малое впечатление производит эта сцена, достойная балагана, он убирает оружие, гордо скрещивает руки, обводит наглым взглядом скамьи Собрания и восклицает: «Итак, я останусь среди вас, чтобы бросить вызов вашей ярости».

Сильный взрыв ропота отвечает на новое оскорбление «Друга народа». Кутон требует прекратить заниматься личностями и наконец приступить к делам Республики. Устав от борьбы и не получив никакого конкретного предложения, Собрание переходит к очередным делам. Тогда только, и только тогда, Марат решает покинуть трибуну; он осквернил ее на целый час своим отвратительным присутствием¹.

VII

Конвент был собран всего пять дней, а две партии, которые должны были наполнить его своими распрями, уже обозначились. Жиронда одержала все голоса, которых требовала; огромное большинство присоединилось к ней, когда устами своих самых блестящих ораторов она заклеила сентябрьские убийства и их организаторов, узурпации Коммуны и ее комиссаров; когда она предложила новые законы против подстрекателей к убийству и подстрекателей к анархии. Но любое большое собрание хочет, чтобы им руководили. Оно охотно признает вождей при условии, что те будут представлять на его голосование четкие и определенные предложения, что, указывая ему постоянную, ясную и осязаемую цель, они покажут ему пример дисциплины. А этого никогда не умел делать жирондистский парти. Состоящий из блестящих личностей, но именно поэтому ревнивых к своей инициативе и независимости, он был тем более подвержен внутренним раздорам. Его главные члены, кроме того, проявляли нерешительность, неуверенность, отвращение к крайним средствам, одним словом, все те благородные слабости, которые не позволяют избранным натурам долго руководить революционным движением. Их предложения сталкивались, перекрещивались, противоречили друг другу. Лишенные сплоченности, последовательности, эти горячие полемисты, эти блестящие ораторы обладали всем, что нужно для победы, но не умели пользоваться своей победой.

Совсем иными были их противники. Гора в начале конвентской сессии насчитывала, возможно, не более пятидесяти членов, которые, по выражению Коллю д'Эрбуа, принимали за политическое кредо манифест сентябристов; но все приверженцы этой чудовищной доктрины были связаны теснейшей солидарностью — солидарностью преступления. Они знали, что упорство и насилие заменяют число и таланты. Не уставая, не падая духом, они снова и снова возвращались в атаку, на следующий день требуя пересмотра декретов, принятых накануне значительным большинством. У них была лишь одна цель: увековечить состояние анархии, в которое была погружена Франция, потому что только эта анархия могла позволить им вволю удовлетворить свою месть и алчность.

Между Горой и Жирондой находилась огромная масса конвентовцев, прибывших из департаментов без предубеждений, без иной четко сформулированной цели, кроме защиты территории от иностранного вторжения и свободы от анархии. Эта масса была не прочь следовать за вдохновением тех, кого газеты в течение года приучили считать самыми твердыми опорами Революции; она не доверяла Робеспьеру и презирала Марата; Дантон импонировал ей своей энергией, мужеством, благородными и патриотическими порывами, но она видела на его руках следы сентябрьской крови. Петион издали представлялся ей образцом мудрости и добродетели; но, увидев его вблизи, она вскоре оценила по достоинству этого человека, столь снисходительно превознесенного. Верньо покорила бы и увлекла бы ее, если бы она могла рассчи-

тивать на постоянство его замыслов, как и на красноречие его слова; если бы она не видела, как блестящий оратор, наполнив своим могучим голосом зал Манежа, вновь погружается в свои мечтания и обычную небрежность.

Многие депутаты, приобретшие некоторую известность в Учредительном или Законодательном собрании, — Лакруа, Баррер, Ревелль, Камбон и многие другие — колебались между двумя партиями, не зная, на какую сторону склониться. Мы уже слышали их, мы еще услышим, как они предлагают или поддерживают меры, весьма не соответствующие ультрареволюционным взглядам, которые они исповедовали позже. Их симпатии тянули их к Жиронде, но отсутствие направления и логики, которое все более будет проявляться в поведении этой партии, постепенно оттолкнет их от нее и заставит броситься в объятия Горы.

Если бы в первые восемь дней заседаний Конвента жирондисты, при содействии своих друзей из исполнительной власти — Сервана, Клавьера, Ролана, — предложили серию мер для сокрушения власти Коммуны, наказания виновников сентябрьских убийств и восстановления во всех отраслях государственного управления того порядка и регулярности, которые были столь грубо нарушены парижскими комиссарами; если бы, особенно после принятия этих мер, они добивались их быстрого и энергичного выполнения, большая часть ужасных бедствий, от которых Франция так долго страдала, была бы, вероятно, предотвращена. Преступление было налицо; пол тюрем еще был пропитан кровью жертв, хищения были доказаны, улики против главных виновных можно было легко собрать. Следовало бы отправить всех этих злодеев в Верховный суд в Орлеан, который, вероятно, вершил бы над ними скорый и праведный суд; но нужно было хотеть этого, и хотеть с логикой, с настойчивостью. Нужно было, чтобы энергия исполнения соответствовала пылу слов; нужно было меньше тратить сил на красноречие и не довольствоваться этими трибунными победами, которые чаще всего лишь разжигают злобу и пробуждают ревность.

VIII

Политика Коммуны в создавшейся ситуации была ясна: уступить буре, лавировать, выиграть время и, если потребуется, выбросить за борт тех своих членов, которые больше всего способствовали возникновению бури. В тот же вечер, когда Марат разыграл свою нелепую комедию с пистолетом, она отправляет к барьеру Конвента депутацию.

«Перед вами, — говорит оратор, — делегаты Генерального совета временной Парижской Коммуны. Они приходят как свободные люди сказать правду свободным людям. Правда, мы посылали комиссаров в различные муниципалитеты Французской Республики. Но с какой миссией мы их облекали? С миссией распространять то братское единение, в котором мы нуждались, чтобы отразить врага. Вот инструкции, которые им было поручено распространять. Если они превысили свои полномочия, вам судить их и наказывать. Мы сами денонсируем вам Наблюдательный комитет города. Комитет многое делал без ведома Генерального совета, действуя от его имени. Мы отозвали часть его членов, остальных предоставляем вам».

Оставленные без защиты Коммуной, члены Наблюдательного комитета вынуждены защищать себя сами. 27-го числа двое из них, во имя общественного спасения, требуют оставить их на посту, который они так странно узурпировали: «Сильные своей совестью, мы отвергаем клевету, которой нас подвергают. Мы стремились расстроить все заговоры, раскрыть все интриги; мы держим нить, у нас есть доказательства измены крупных заговорщиков. В интересах народа было бы опасно поручать другим завершение нашего дела. Члены Наблюдательного комитета требуют и готовы продолжать свои функции под свою ответственность».

Перед такой дерзостью Ревелль восклицает: «Что все это значит? Кто эти люди, которые приходят сказать нам, что они не хотят исполнять закон? Я требую перехода к очередным делам». Но большинство хочет проявить беспристрастие; петиция передается в Комитет общей безопасности для доклада в трехдневный срок¹.

Таким образом, всегда отсрочка, когда сама Коммуна только и искала, что выиграть время, когда ничего не было легче, как воспользоваться реакцией, проявлявшейся со всех сторон против действий Коммуны и ее приспешников. Эта реакция ежедневно выражалась в гневных обращениях, которые делегаты секций, менее всего заподозренных в конституционализме или умеренности, как тогда говорили, приносили к барьеру. Послушаем петицию предместья Сент-Антуан:

«Законодатель»¹,

Секция Пятнадцати-Двадцати, которая не побоялась некогда преследовать коронованный деспотизм, приходит сегодня денонсировать вам Парижскую Коммуну. Декреты Законодательного собрания не имеют силы или презируются; даже ваши остаются без исполнения, и однако исполнительная власть не преследует перед судами вероломных магистратов, которые пытаются увековечить беспорядок и анархию. Когда, за два дня до вашего открытия, Законодательное собрание декретировало, что в течение трех дней парижский муниципалитет будет полностью обновлен; когда вы сами, граждане-законодатели, добавили к этому закону несколько статей, чтобы завершить его, неужели вы вообразили, что муниципалитет не приведет его в исполнение, или что министр пренебрежет необходимыми мерами, чтобы отомстить за оскорбленное национальное достоинство? Однако факт налицо, и наши временные муниципалы насмеваются над вашими декретами, как они насмехались над декретами ваших предшественников; закон презираем, а ваша власть унижена; у нас больше нет прокурора Коммуны, нет полицейских администраторов, способных выполнять столь важные функции. Наконец, вопреки вам, в Париже все временно. Кажется, одна лишь тирания наших патриотических муниципалов вечна.

Не пора ли, чтобы власть закона заняла место анархии, деспотизма и распущенности? Говорите, законодатели, и скоро новые тираны не будут больше осквернять почву свободы; секция Пятнадцати-Двадцати предлагает вам для этого свою храбрость и свои силы».

Многочисленные аплодисменты встречают чтение этого обращения; жирондист Валазе требует, чтобы декрет принудил парижский муниципалитет отчитаться об исполнении закона.

Леонар Бурдон, бывший член мятежной Коммуны, пытается защитить своих друзей. Он заявляет, что если Генеральный совет не исполнил закон, предписывающий его немедленное обновление, то потому, что перед этим ему нужно было исполнить другой закон, касающийся раздачи гражданских карточек. Нужно было, говорит он, чтобы эта затянувшаяся операция была завершена до назначения нового муниципального корпуса.

«Нас хотят убаюкать карточками! — восклицает Барбару. — Пора, чтобы муниципальная власть склонилась перед национальной!» Базир, бывший член Наблюдательного комитета Законодательного собрания и, благодаря своему особому положению, хорошо осведомленный обо всем, что происходило в комитете, носившем то же название в мэрии, замечает, что Парижская Коммуна имеет в своих руках более двенадцати миллионов драгоценностей, золотых и серебряных предметов, ассигнатов и всевозможных ценностей, происходящих из королевских домов и конфискаций у подозрительных лиц. «Необходимо, — говорит он, — чтобы муниципальные чиновники отчитались в своих счетах перед своим замещением; кроме того, невозможно не считать солидарными Генеральный совет Коммуны и ее Наблюдательный комитет».

Тальен пытается поддержать своих бывших коллег и объяснить отсрочки, которые Коммуна намеренно делает для своего обновления. «Нынешняя организация порочна, Генеральный совет намерен просить вас изменить ее, приспособив к режиму республиканской свободы; он хотел бы, в частности, чтобы выборы отныне проводились открытым голосованием¹; тем не менее он созвал секции на 9-е число следующего месяца». Указание этой даты вызывает ропот; Тальен соглашается, что срок несколько отдален; но министр внутренних дел, говорит он, может принять меры для ускорения исполнения декрета.

«Коммуна насмешается над приказами министра», — кричат справа.

Тальен, не отвечая на прерывание, настаивает на необходимости для Коммуны, прежде чем распуститься, потребовать от каждого из своих членов отчета. «Необходимо, — говорит он, — чтобы муниципалитет собрал все частные счета и сверил их, чтобы представить вам общий счет. Мои счета выверены уже три дня; но я полагаю, что некоторые другие члены, заседающие в этом Собрании, еще не выполнили этой формальности. Что касается доверенных ему вкладов, я могу заверить, что он ими не злоупотребил...»

«А узники 2 сентября?» — кричат ему.

Тальен притворяется, что не слышит. Он признает, что несколько бывших муниципальных чиновников ослушались постановления, требовавшего, чтобы никто из них не уходил, не сдав предварительно свои счета. Он также признает, что счета Наблюдательного комитета не сведены. Но Генеральный совет представит свои. «Это будет, — добавляет он, — новым триумфом для Парижской Коммуны и убедительным средством уничтожить клевету, которой ее подвергли. Ее отчет будет ясным, точным, кратким и полностью оправдает тех, кто не признает услуг, оказанных Парижской Коммуной общественному делу. Хотят заставить забыть, что именно она совершила революцию 10 августа...»

«И 2 сентября?» — повторяют несколько голосов, когда Тальен спускается с трибуны.

Эта роковая дата возвращалась так постоянно, как погребальный звон, напоминая о жертвах и давая понять проскрипторам, что час их наказания может пробить с минуты на минуту.

IX

Собрание, кажется, хочет покончить с этим; оно постановляет, что уже завтра, 1 октября, министр внутренних дел представит письменный доклад о мерах, принятых для исполнения декрета о муниципалитете и о счетах, которые он должен представить.

Но на следующий день происходит новый инцидент, для объяснения которого мы должны вернуться на несколько дней назад. Генеральный совет Коммуны, как мы видели, решил сделать из своего прежнего Наблюдательного комитета козла отпущения за все беззакония, совершенные за последние шесть недель. Он отозвал членов, заседавших в нем 2 сентября, и даже запретил им вмешиваться в какие-либо муниципальные функции под угрозой преследования по всей строгости закона²; но Панис, Сержан и их друзья не приняли во внимание эти постановления; они остались при ценных предметах и бумагах, на которые наложили руку.

Перед этим пассивным сопротивлением Совет разыграл очень сильный гнев; 29 сентября, в тот самый момент, когда устами своих официальных и полуофициальных защитников он старался отрицать всякую солидарность между собой и прежним Комитетом, он постановил:

1° Что члены этого комитета будут вызваны к барьеру и обязаны сообщить его истинный состав на 2 сентября, различая среди его членов тех, кто принадлежал и кто не принадлежал к Генеральному совету Коммуны;

2° Что на стенах столицы будет расклеено объявление, приглашающее граждан, имеющих претензии к комитету в связи с произвольными действиями, совершенными с 2 сентября, представить их в Коммуну, чтобы получить должное правосудие;

3° Что два комиссара, назначенные каждой секцией, будут приглашены в мэрию для проверки счетов Наблюдательного комитета;

4° Что печати будут наложены на золотые и серебряные вещи и драгоценности, находившиеся у комитета на хранении.

Разыграв негодование, нужно было разыграть бескорыстие. Последним постановлением Генеральный совет предписывал, чтобы все его члены, даже те, кто ушел, были обязаны отчитаться во всех порученных им управлениях и во всех вкладах, переданных им в руки.

Представление всех этих частных счетов и их сведение в общий итог должны были занять довольно много времени; распущенный и Законодательным собранием, и Конвентом, Генеральный совет рассчитывал, что за этот период ему удастся увековечить себя во власти, к кото-

рой он тем более привязан, чем больше злоупотреблял ею. Он также возлагал свои отсроченные надежды на проволоочки, которыми закон 1790 года, все еще действовавший, обставил выборы парижского муниципалитета¹.

В самом деле, нужно было сначала приступить к выборам мэра, секретаря-архивариуса и его двух помощников, прокурора-синдика и его двух заместителей. После этих предварительных назначений, которые могли потребовать нескольких туров голосования, нужно было, и только тогда, приступить в каждой из сорока восьми секций к выборам трех членов Генерального совета; наконец, установка новой Коммуны могла состояться только после того, как право остракизма, установленное законом 1790 года в отношении выборов каждой секции, будет осуществлено сорока семью другими.

За это время разве нельзя было бы возбудить в Конвенте постоянно возобновляющиеся распри, неожиданные инциденты, которые быстро притупили бы его недавнюю энергию? Но если Генеральному совету Коммуны было легко спокойно ждать результатов этих подземных махинаций, то совсем иначе обстояло дело с бывшим Наблюдательным комитетом. В силу последних постановлений Генерального совета только что были наложены печати на помещения, которые этот комитет занимал в здании мэрии; он, таким образом, фактически лишился всех средств действия. Загнанный в последний угол, он должен был во что бы то ни стало предпринять новый дерзкий шаг. Панис и его друзья решили поменяться ролями и из обвиняемых стать обвинителями.

1 октября, в день, когда Ролан должен был сообщить, как Коммуна выполняет неоднократные приказы исполнительной власти и Национального собрания, депутация Наблюдательного комитета просит допустить ее к барьеру для дела, не терпящего отлагательства. Конвент постановляет немедленно выслушать ее. Оратор говорит так:

«Члены Наблюдательного комитета приходили пять дней назад, чтобы взять на себя перед вами обязательство разоблачить изменников; сегодня они приходят выполнить его и предстают перед своими судьями. Поскольку могут попытаться изъять из наших канцелярий документы, свидетельствующие о заговорах изменников с двором, мы приносим вам несколько бумаг, взятых наугад из картотек. Вот два письма: одно, датированное Гамбургом, доказывает, что двор скупал сахар и кофе; другое, отправленное Лапортом Септёю и датированное 3 февраля 1792 года, показывает, во сколько обходились гражданскому списку декреты Национального собрания».

Обвинение было категоричным. Поэтому сильное волнение охватывает Конвент; требуют, чтобы оратор немедленно представил список депутатов, которых он утверждает, что таким образом продали.

«Мы не в состоянии сделать это немедленно», — отвечают делегаты маратистского комитета.

«Нам нужен список!» — кричат со всех сторон.

«Но, — продолжают делегаты, — мы приняли необходимые меры предосторожности, чтобы обвиняемые не могли ускользнуть от власти закона».

«Не будем ничего торопить, — говорит Керсен. — Когда в собрании раздается обвинение, носящее столь ужасный характер, нужно остерегаться необдуманного решения. Я требую, чтобы ваш Комитет общей безопасности немедленно проверил факты, которые только что были указаны, но не доказаны».

Другой депутат добавляет: «Поскольку Наблюдательный комитет принял меры предосторожности, чтобы задержать виновных, он должен знать их имена и быть в состоянии их назвать».

«Мы не отказываемся, — отвечает оратор комитета, — дать запрашиваемые разъяснения; но — и это была цель ловких постановщиков всей этой комедии — для составления списка необходимо, чтобы печати, наложенные на наши бумаги, были немедленно сняты».

«Как! — восклицает Ревелль. — Их бумаги под печатями, и они приходят с таким обвинением без доказательств, без списка обвиняемых? Те, кто так поступает, сами виновны».

Тальен, Шабо, Мерлен (из Тионвиля) пытаются защитить Наблюдательный комитет; они осмеливаются утверждать, что своим поведением он оказал услугу отечеству.

Лакруа предлагает принести все бумаги Наблюдательного комитета в Конвент для изучения.

«Если у нас заберут бумаги, если их перенесут сюда, мы за них не отвечаем», — возражает Панис.

«Но тогда назовите тех, кого вы обвиняете, — восклицает Верньо, — ужасно сеять подобные подозрения, это моральное убийство».

Наконец, среди множества пересекающихся предложений, Барбару зачитывает проект декрета, который он только что написал на столе секретарей, и который немедленно принимается.

В силу этого декрета должна была быть сформирована комиссия из двадцати четырех членов, в которую не могли войти ни бывшие члены Учредительного или Законодательного собрания, ни члены парижской депутации. Эта комиссия должна была немедленно отправиться в мэрию, опечатать и пересчитать все картотеки Наблюдательного комитета и составить опись всех содержащихся в них документов.

Х

Конвенту было суждено не провести ни одного заседания, не занимаясь Коммуной и ее агентами. 2 октября Жозеф Делане от имени Чрезвычайной комиссии и Комитета общей безопасности представил пространный доклад о петициях, подписанных большим числом лиц, содержащихся в парижских тюрьмах на основании более или менее законных ордеров на арест. Эти несчастные просили о временном освобождении, о том, чтобы их не подвергали правосудию, но и не отдавали на растерзание убийцам; ибо, — добавлял докладчик, — они ежеминутно трепещут, что в тюрьмах их постигнет участь тех, кого они там заменили.

Никогда еще сентябрьские события не были осуждены и заклеены с такой энергией.

«Национальному Конвенту, — говорил Делане, — надлежит доказать Франции и Европе, что личность невиновных или виновных, брошенных в парижские тюрьмы, столь же священна, как и личность других граждан, и что, находясь под защитой закона, убивать их — значит убивать сам закон. Нужно, чтобы мы погибли здесь или чтобы возродилось господство закона, чтобы анархия исчезла и чтобы революционная гильотина больше не была в руках злодеев орудием террора, преступления и мести. В самом деле, если бы правительство должно было идти только в сопровождении восстаний, если бы сцены ужаса, происходившие у нас на глазах, должны были повториться, если бы власть народных представителей могла быть однажды унижена и поправа, если бы общественная сила могла быть введена в заблуждение или уничтожена, общество было бы распушено, и нам оставалось бы только оплакивать руины свободы»¹.

Этот доклад, часто прерываемый аплодисментами, завершился следующим декретом:

«Комитет общей безопасности уполномочивается потребовать отчета об арестах, связанных с революцией, произведенных по всей республике с 10 августа; ознакомиться с их мотивами; потребовать предъявления корреспонденции арестованных лиц и вообще всех документов, служащих либо к их оправданию, либо к доказательству преступлений, в которых они обвиняются, для доклада Национальному Конвенту и принятия последним такого решения, какое он сочтет целесообразным;

Конвент, кроме того, постановляет, что доклад Комитета общей безопасности будет напечатан и отправлен во все департаменты».

Послезавтра, 4 октября, Валазе представляет от имени Двадцати четырех² предварительный доклад о работе по разбору и изучению, которую комиссары провели после того, как Наблюдательный комитет Коммуны был вынужден передать им все свои бумаги. Он сообщает,

что для составления полной описи этих досье, содержащихся в девяноста пяти картотеках, шести ящиках, из которых один объемом в тридцать четыре кубических фута, двадцати портфелях, тридцати четырех регистрах и бесчисленных документах, наваленных в мешки для зерна, потребовались бы месяцы.

«До сих пор, — говорит другой член комиссии, Леарди, — хотя мы допрашивали обвинителей и требовали от них доказательств их слов, мы не нашли ничего, что касалось бы столь туманного и вероломного доноса на членов прежних собраний. У нас в руках доказательства многих фактов против бывшего короля и агентов его гражданского списка, но ничего, что могло бы инкриминировать ни людей, которые в Законодательном собрании бодрствовали, чтобы расстроить аристократию, ни этого добродетельного министра, который пользуется уважением всей нации»¹.

Третий комиссар, Бирото, добавляет:

«Мы все убеждены, после проведенного нами изучения, что донос, сделанный у этой трибуны, был лишь клеветой, направленной членами Наблюдательного комитета против нескольких наших коллег, которых они не называют, которых они не в силах назвать; но мы должны сказать в обвинение этим же членам комитета, что мы нашли документы, доказывающие невиновность нескольких человек, убитых в тюрьмах...»

Оратор прерван движением ужаса. «Они были принесены в жертву, — продолжает он, — потому что тот, кто выдавал ордера на арест, ошибся в их именах».

Негодование в Собрании и даже на трибунах достигает предела. Бирото продолжает:

«Мы попросили Наблюдательный комитет указать нам документы в подтверждение его доноса. Он передал нам только письма, по большей части малозначительные. Был найден список лиц, против которых должны были быть выданы ордера на арест. Мы вызвали всех этих лиц, мы их допросили, и вот! эти допросы послужили лишь к доказательству их невиновности и их гражданственности».

Громко требуют привлечения к ответственности убийц. «Необходимо, — восклицает Керсен, — чтобы Европа узнала, что несколько злодеев — это не нация, и что эти злодеи будут наказаны ею»¹. — «Пора, — продолжает Бирото под продолжительные аплодисменты, — чтобы мятежники канули в небытие. Пора, чтобы парижский народ, добрый и справедливый, но слишком легко поддающийся обману и до сих пор слепо доверявший некоторым интриганам, узнал своих истинных друзей». — «Да, да!» — восклицает большинство; меньшинство ропщет. «Ваши комиссары покраснели бы, служа орудием фракции, которая заслуживает быть разоблаченной и которая в самой отдаленной потомстве будет предметом позора для всех французов».

Монтаньяры подпрыгивают. «Я требую, — продолжает оратор, — чтобы Конвент поручил комиссарам, которых он назначил, составить мотивированный отчет об их операциях, не только в отношении доноса, сделанного членами Наблюдательного комитета, но и всего, что может послужить к разоблачению фракций, о которых я говорю. Я требую, чтобы завтра Конвент занялся организацией вооруженной силы департаментов, которая должна охранять Париж».

Осслен пытается защитить своих друзей из Отель-де-Вия. Он замечает, что комиссары Конвента, кричащие о клевете, должны бы сами обвинять, имея в руках улики. Марат приходит на помощь Осслену и утверждает, что Наблюдательный комитет представил подлинные документы, доказывающие намерение агентов двора подкупить некоторых членов Законодательного собрания, чтобы возложить на нацию расходы, которые должен был оплачивать гражданский список; и «Друг народа» начинает говорить о портфеле, который, по его словам, содержит очень важные бумаги.

«Этот портфель, — отвечает Барбару, — содержит документы, доказывающие махинации агентов гражданского списка; но вместе с тем беглый просмотр содержащихся в нем доку-

ментов уже убедил нас, что члены Наблюдательного комитета нагло лгали вам, утверждая, что они обладают доказательствами и списком раздачи денег для подкупа членов Законодательного собрания».

Подозрения падали главным образом на Рибю. В бумагах гражданского списка действительно была найдена подпись Рибю, но не Рибю, члена Законодательного собрания, а Рибю, банкира и директора монетного двора в Перпиньяне. «Более того, — заявляет Барбарю, — вместо того чтобы получить 800 000 франков, это он их дал взаймы». «Все эти доносы, — восклицает Лакруа, — лишь тактика, чтобы завалить комиссию бесполезными делами и опротивить ей». — «Нужно, чтобы клеветники были поражены мечом закона, — добавляет Лекуантр-Пюиро. — Я денонсирую вам негодяев, которые могут жить только в смуте и питаются только кровью. Я денонсирую вам человека, который не перестает обклеивать стены своими подстрекательскими сочинениями, человека, который в самый вечер доноса Наблюдательного комитета приказал своим подкупным глашатаям объявить о раскрытии великого заговора бриссотинской фракции».

Трижды уже Марат просил защитить своих бывших коллег по Наблюдательному комитету, и трижды шумное негодование большинства заглушало его голос. Но при этом последнем обвинении «Друг народа» бросается к трибуне и громко требует слова. Ему хотят отказать, он берет его. «Я аплодирую усердию мужественного гражданина, который обвинил меня у этой трибуны...» Ропот мешает ему продолжать. Со всех сторон требуют закрытия прений; однако Бюзю добивается минуты молчания, чтобы внести с места предложение о порядке ведения: «Остережемся, — говорит он, — придавать Марату значение, которого он не заслуживает; так долго обсуждать такого человека — значит делать вид, что обращаешь на него внимание. Когда требуют, чтобы Марата выслушали, мне кажется, что я слышу, как того же требуют сами пруссаки; ибо позволить Марату говорить, позволять ему постоянно нападать на членов Конвента — не значит ли унижать сам Конвент? Не значит ли делать то, чего желают пруссаки? Иностранцы захватчики могут питать надежду только на наши внутренние раздоры. Что делает каждый день Марат, если не направляет против нас кинжалы убийц и не разжигает гражданскую войну? Что же! Когда нам нужно отражать врага, когда нам нужно самое тесное единство, когда столько важных дел требуют нашего внимания, неужели представители великого народа будут вечно заниматься человеком такого рода?»

При этих словах огромное большинство Собрания раздражается аплодисментами. Вершина Горы настаивает, чтобы выслушали оправдание Марата. Отвратительная фигура все еще стоит у трибуны, с неподвижным взглядом, высоко поднятой головой. На каждое обращение он насмешливо улыбается; на каждое прерывание он заявляет, что имеет слово и никому его не уступит.

Перед такой настойчивостью некоторые депутаты считают, что будет быстрее дать ему высказаться; другие категорически не хотят его слушать. Жирондисты, как почти всегда, разделились по этому вопросу. Одни поддерживают предложение Бюзю лишить Марата слова формальным декретом Собрания; другие соглашаются выслушать его, но дорого заставляют его платить за свое презрительное терпение.

Ласурс: «Нужно, чтобы Франция узнала этого человека; я сам требую, чтобы его выслушали». Лидон: «Поскольку парижский избирательный корпус обрек нас на муку слушать Марата, я требую тишины». Камбон: «Поскольку справедливо выслушать и преступление, и добродетель, когда их порицают, я требую, чтобы Марата выслушали».

«Друг народа» начинает так:

«Я не унижусь до того, чтобы отвечать на оскорбления, только что обращенные ко мне... Народ рассудит, он произнесет приговор между вами и мной... Что касается моих мнений, моих чувств, моей политической жизни, я выше ваших декретов».

«К порядку! К порядку!» — кричат со всех сторон. Но голос оратора заглушает шум; чем больше его освистывают, тем больше он воодушевляется.

«Нет, — продолжает он, — вам не дано помешать человеку гения устремиться в будущее... Ах, если бы с самого начала революции имели достаточно здравого смысла, чтобы понять преимущества того, что я тогда предлагал!... Я заметил в этом Собрании партию, сформированную против Наблюдательного комитета, я обвинил ее. Целью этой партии было изъять у комитета улики измен дворца...»

Смех и ропот прерывали «Друга народа» на каждой фразе, но столь скандальная клевета вызывает всеобщий гнев. Со всех сторон требуют лишить Марата слова; но он, воя во всю силу легких, называет по имени Бриссо, Ласурса, Гюаде, Верньо, всех этих людей, которые интриговали во время выборов, всех этих людей, которые недавно предлагали разорительную войну, ставшую, правда, благоприятной благодаря непредвиденным событиям, всех этих людей, которые требовали упразднения Парижской Коммуны за то, что она совершила революцию 10 августа...

«И преступления 2 сентября», — повторяют несколько голосов.

«Мои прерыватели, — возражает Марат, — бросают здесь лишь клеветническое обвинение. Именно отказ в правосудии уголовного суда оправданием Монморена вызвал события 2 сентября».

Марат наконец покидает трибуну. Гюаде бросается к ней.

«Граждане, — восклицает он, — среди обвинений, в которых валяется человек, чье имя я твердо решил никогда не произносить, я должен был ожидать, что буду впутан в его клевету... Он обвинил меня в том, что я интриговал в моем департаменте; да, я писал в Бордо, прося друзей не вспоминать обо мне на конвентских выборах, потому что мое расстроенное здоровье требовало отдыха, но также и потому, что я опасался оказаться в этом Собрании рядом с некоторыми людьми, для которых революция означает убийство, свобода — распушенность, для которых, наконец, отечество означает лишь партию и фракцию. Вопреки моим просьбам, мой департамент вновь оказал мне доверие; но я получил это доверие не под эгидой кинжалов, я обязан им не ужасу и страху, которыми здесь, в Париже, были охвачены все граждане. Я ограничусь этим словом».

Собрание бешеными аплодисментами утверждает это осуждение парижских выборов и принимает окончательную редакцию декрета, направленного на то, чтобы облечь Двадцать четыре неограниченными полномочиями для проверки документов, переданных им Наблюдательным комитетом. Затем заседание закрывается, так и не решившись принять более энергичные и, прежде всего, более действенные меры.

X [так в тексте; далее следует продолжение, посвященное ostracismu и связанным с ним событиям в Конвенте, включая выступления Бюзо и Баррера]

Примечание: В оригинальном тексте после раздела "X" идет повтор заголовка "X" и продолжение обсуждения ostracismu, что, вероятно, является типографской ошибкой. Я сохранил нумерацию, как в исходном тексте.

X (продолжение)

Повторные предписания Конвента и министра внутренних дел вынудили парижский муниципалитет ускорить на несколько дней первоначально назначенный им срок начала избирательных операций. Сорок восемь секций были созваны для проведения 4 октября выборов мэра. Тотчас же вопрос о порядке голосования был снова поставлен на повестку дня в клубе якобинцев. Тайное голосование было единственным законным способом, но открытое голосование было смело применено при выборах парижской депутации, и Конвент своим молчаливым согласием покрыл это вопиющее нарушение, не оспаривая законности полномочий Робеспьера, Дантона и их коллег. Ободренные этим прецедентом, ораторы зала Сент-Оноре развивают на все лады теорию, недавно изобретенную зачинщиками демагогии: «Народ, каж-

дая часть народа, а следовательно, и каждая секция, имеет право пользоваться своей долей суверенитета по своему усмотрению».

Эта странная теория была не чем иным, как отрицанием всех законов. Но якобинцы не вдавались в такие тонкости. Поэтому они призвали своих сообщников поддерживать и проводить в своих секциях открытое публичное голосование.

Поскольку такое предложение было внесено в большинстве секций, некоторые из них отправили делегации в Национальное собрание с просьбой принять срочный декрет, заменяющий тайное голосование открытым не только для выборов мэра, но и для обновления Генерального совета.

В течение трех дней эти делегации сменяли друг друга у барьера, не добившись никакого успеха. Наконец, 7-го числа секция Гравийе возобновила попытку, и ее делегаты зачитали обращение, в котором, протестуя против уважения к решениям Конвента, они требовали на каждой фразе абсолютной свободы, которой должен пользоваться суверенный народ, собравшийся на свои сходки. Это обращение заканчивалось так: «Мы не потерпим, чтобы сенатский деспотизм заменил монархический деспотизм; мы не потерпим, чтобы возникли новые тираны, под каким бы наименованием они ни скрывались и какой бы маской ни прикрывались».

Чтение столь дерзкого манифеста было прервано ропотом Собрания; председатель Лакруа становится выразителем чувств, воодушевляющих его коллег. «Граждане, — говорит он, — право петиции священо; но те, кто приходит к барьеру, чтобы воспользоваться им, не должны забывать об уважении, которое они обязаны проявлять к представителям французского народа, а не только парижского. Конвент знает только один народ, одного суверена — это союз граждан всей Республики. Не угрозами запугают представителей нации; они ничего не боятся, они торжественно заявили об этом, и то, что вы говорите для их успокоения, было совершенно бесполезно. Конвент всегда с удовольствием выслушает язык свободы; но он никогда не потерпит языка распущенности; он разрешает вам присутствовать на своем заседании в количестве, установленном законом, — двадцать!»

Собрание почти единодушно присоединяется к ответу председателя, постановляет его напечатать и разослать в департаменты, затем переходит к очередным делам по петиции Гравийе и всем подобным, ранее поданным, принимая соображение, предложенное Ла Ревельер-Лепо: «нет оснований делать исключение из закона для города Парижа».

На следующий день, 8-го числа, Жиронда дает другой, еще более значительный ответ на угрозы ультрареволюционных секций. Бюзо от имени комиссии шести¹ представляет свой доклад об организации департаментской гвардии.

«Новый порядок вещей, — говорил бывший член Учредительного собрания, — начинается для Франции; мы больше не должны признавать иного господина, кроме закона, исходящего из свободно выраженной воли представителей всей республики. Кому принадлежат представители? Всей нации; следовательно, нация должна быть призвана оказывать им свою бдительность и осенять их своим покровом... Принцип единства и неделимости Республики священен; именно в этом принципе Париж черпает свое богатство и величие. Париж должен поэтому с благодарностью видеть предлагаемое ему. Париж низверг деспотизм, хорошо послужил свободе, хорошо послужил отечеству; но Париж напрасно бы сражался, если бы народ департаментов не рукоплескал ниспровержению деспотизма, не поклялся поддерживать революцию, не умножил своих жертв для свободы, не посылал многочисленные легионы, не расточал свое золото и кровь для защиты отечества. Существует солидарность между департаментами и Парижем; если они объединят свои усилия для защиты общих интересов, кто может этого опасаться, если не мятежники?.. Признать за департаментами их право участвовать в охране того, что им принадлежит, обеспечить им его осуществление, привязать их, наконец, к центру, к которому нужно привлечь силы и привязанности со всех концов, предотвратить

недоверие и раздоры, столь легко возникающие и столь пагубные по своим последствиям, — это значит одновременно лишить недоброжелателей всякого предлога подрывать Конституцию, которую вы должны установить, это значит дать вам возможность обдумать ее с мудростью и предложить ее чистой и полной воле народа в первичных собраниях».

Доклад завершался предложением, чтобы каждый департамент посылал столько раз по четыре пехотинца и два кавалериста, сколько у него было депутатов. Таким образом, должно было получиться в общей сложности четыре тысячи четыреста семьдесят национальных гвардейцев, которые были бы расквартированы в Париже и получали бы жалованье жандармерии. Люди, предназначенные для этой гвардии, должны были выбираться генеральными советами департаментов из числа граждан, получивших от округов и коммун свидетельства о гражданственности. Выбор их командующего сохранялся за Национальным собранием.

Конвент, выслушав доклад Бюзо, решает, что день его обсуждения будет назначен позднее; но демократическая партия не ждет и часа, чтобы обрушиться на жирондистский проект. Робеспьер начинает атаку в одном из своих «Писем к избирателям».

«Это предложение, — писал он, — столь же странно по своему предмету, сколь и важно по своим последствиям; это произведение, давно подготовленное ежедневными доносами министра внутренних дел и декламациями некоторых депутатов против всего, что носит парижское имя. Оно не имеет иной цели, кроме как обеспечить против Парижа торжество коалиции, господствующей в Конвенте». Развив, или, скорее, пережевывая эти идеи в бесконечных периодах, Робеспьер заявляет, во имя того, что он называет принципами, что в любом организованном государстве общественная сила едина, как и общая воля, которую она призвана уважать; что любая особая сила, приданная человеку, какому-либо собранию, как бы оно ни было устроено, является чудовищем в общественном порядке. Он ставит следующую дилемму: «Либо делегаты народа пользуются его доверием, либо нет. В первом случае им не нужна вооруженная сила; во втором они призывают ее только для угнетения народа».

«Обычный текст декламаций всех врагов свободы — это тирания парижского народа, как будто французы Парижа — иной природы, чем те, кто населяет другие области Франции!... Париж был камнем преткновения для королевского деспотизма. Он предназначен быть таковым для всех новых тираний. Поэтому, пока во Франции будут честолюбцы, замышляющие проекты, противные общему делу, они будут пытаться клеветать на Париж, уничтожить Париж».

Приюдомм в своих «Революциях», Марат в своем «Журнале Республики» вторят Робеспьеру; но особенно в зале Сент-Оноре вспыхивают монтаньярские гнев. В ярости от того, что их друзья в меньшинстве в Конвенте, а новые конвентовцы проявляют весьма мало склонности записываться в их список¹, якобинцы ждали случая, чтобы нанести сильный удар. Доклад Бюзо предоставил им его. Они рассматривают его как объявление войны и хотят применить ответные меры против Жиронды. Не имея возможности добраться до бывшего члена Учредительного собрания, который некогда был одним из основателей клуба, но, вернувшись в Париж, благоразумно воздержался от перерегистрации в его списках, они обрушивают свой гнев на депутата, который, справедливо или ошибочно, слывет главой партии. Бриссо торжественным решением исключается из общества за то, что осмелился дурно отозваться о Парижской Коммуне. Шабо формулирует приговор, и общество принимает его единодушно².

ХII

Отлучение, произнесенное у якобинцев капуцином Шабо, не запугало Бриссо и его друзей. Комиссия Двадцати четырех, как помнят, была уполномочена рассматривать все вопросы, связанные с управлением парижского муниципалитета. Она была занята рассмотрением петиций граждан, которым не удалось получить расписки о сдаче золота и серебра в Коммуну. 10 октября по поручению одного из своих членов, Байеля, она объявляет, что по этим петициям ей были сообщены серьезные факты, но что огромная занятость не позволяет ей уделить этой

части муниципальных счетов необходимое время; что, следовательно, следует создать новую комиссию, специально уполномоченную принимать заявления о вкладах, сделанных в Коммуну и мэрию, с указанием их характера и места передачи.

Это предложение вызывает яростные протесты со стороны друзей Коммуны. Леонар Бурдон и Тюрио требуют отсрочки, первый — на два месяца, второй — на пятнадцать дней, для приема заявлений и представления муниципальных счетов. Альбитт требует, чтобы счета Коммуны были напечатаны до приема заявлений. Это означало бы бесконечную отсрочку расследования запутанного управления Коммуны. Большинство это понимает; оно требует прекратить обсуждение и немедленно проголосовать за декрет, предложенный Двадцатью четырьмя. «Вы хотите, значит, поставить честь Парижской Коммуны на усмотрение нескольких недоброжелателей!» — восклицает Лежандр. «Честь Парижской Коммуны, — отвечает Ланжюине, — состоит в представлении точного и ясного отчета. С тех пор как Конвент собрался, над ним насмеваются с настойчивостью». — «Я не обвиняю ни Коммуну, ни Наблюдательный комитет, — добавляет Барбару, — но нужно знать расхитителей. По собственному признанию Наблюдательного комитета, с 10 августа исчезло очень большое количество серебряной посуды и сумма в одиннадцать тысяч ливров золотом». — «Декрет, — говорит Камбон, всегда внимательный к финансам государства, — декрет, предписывающий всем хранителям золотых и серебряных вещей, принадлежащих нации, доставить их в Монетный двор, не был исполнен... Я не понимаю, как можно противиться тому, чтобы свет был пролит на все финансовые операции. Нужно, чтобы суверенный народ знал, какое употребление было сделано из того, что ему принадлежит; нужно, чтобы он знал расхищения и расхитителей; и поскольку законы недостаточны, поскольку им безнаказанно пренебрегают, я требую апелляции к народу; это он будет судить все операции». Камбон награждается очень бурными аплодисментами.

Сообщники Коммуны, отчаявшись помешать принятию декрета, прибегают к тактике, которая уже часто им удавалась. Они предлагают, чтобы заявления делались открыто и чтобы им сразу же придавалась максимальная гласность. Тальен первым выдвигает идею организации вокруг следственной комиссии обширной системы запугивания; Дантон поддерживает его. «Вы хотите, — говорит бывший министр юстиции, — пролить свет на операции Парижской Коммуны? Так вот, требовать, чтобы заявления были публичными, значит требовать того, что идет прямо к цели. Тот, кто не имеет мужества подписать свой донос и открыто его поддерживать, должен считаться доносчиком». — «Если бы вы декретировали, что эти заявления будут делаться публично, — возражает Ревелль, — расследование стало бы бесполезным. Тот, кто посмел украсть, посмеет убить, чтобы скрыть кражу». Но Сержан настаивает; он хотел бы, по крайней мере, чтобы заявления подтверждались оправдательными документами, ибо, говорит он, «я вижу в вашем декрете лишь намерение заставить честного человека клеветать злодея за деньги». — «Когда совершаются преступления, — отвечает Ланжюине под аплодисменты большинства, — когда расхищаются средства, разве виновные составляют нотариальные акты?»

Конвент, не останавливаясь более перед корыстными возражениями бывших членов Коммуны, их друзей или сообщников, принимает декрет, предложенный Двадцатью четырьмя¹.

Этот декрет в каждой строке свидетельствовал о малом доверии Собрания к странным хранителям Отель-де-Вилия. Он предписывал, чтобы шесть комиссаров, выбранных из числа членов Конвента, принимали заявления граждан, сделавших вклады серебряной посуды и других предметов в руки членов Парижской Коммуны. Комиссары должны были затем сличить эти заявления с протоколами и, проверив их точность, потребовать представления упомянутых предметов и немедленной их сдачи на Монетный двор. В случае, если заявленные предметы не были упомянуты в протоколах, составленных Коммуной, и если лица, указанные как получившие вклад, не представляли их, шесть комиссаров уполномочивались вызвать перед

собой и очно заявителей и хранителей; о их соответствующих объяснениях составлялся протокол, и о нем докладывалось Конвенту. Наконец, декрет должен был быть отправлен, зачитан и расклеен в сорока восьми секциях¹.

ХIII

Едва было принято предложение Двадцати четырех, как Марат бросается к трибуне и требует распространить только что проголосованные положения на всех государственных служащих, имевших в руках имущество, изъятое у эмигрантов или из национальных хранилищ. «По волнению, царящему в этом собрании, — говорит он, — можно подумать, что истина не является целью ваших поисков». Так как его прерывают, он иронически продолжает: «Я отметаю от себя всякое подозрение. Правосудие в ваших сердцах. Вы не сочтете нужным издавать декрет, направленный только против парижского муниципалитета...» — «Да, да, — кричат со всех сторон, — мы справедливы и беспристрастны!» — «Парижский муниципалитет сам, — продолжает «Друг народа», — первым попросил вас проверить его операции. Несомненно, что в муниципалитете и в Наблюдательном комитете Коммуны есть негодяи. Этот Наблюдательный комитет 10 августа сам исключил двух своих членов, чью чистоту он подозревал². Но вчера у этой трибуны сказали, что из Наблюдательного комитета было похищено одиннадцать тысяч ливров золотом. Я захотел проверить этот факт. Я сам отправился в Наблюдательный комитет и убедился, что это всего лишь предположение. Но бесспорный факт, что комиссары секций, занимавшиеся поисками бриллиантов, украденных из Гардероба, сдали найденные ими в руки добродетельного Ролана, не составляя протокола, и всем известно, что очень легко подменить бриллианты большой ценности бриллиантами низкой ценности. В руки министра Ролана также было передано серебро, изъятое из замка Лувуа, и шкатулка, содержащая несколько коронных бриллиантов; я требую, чтобы ваш декрет был распространен на министра Ролана».

Собрание ропшет; трибуны аплодируют. Ланжюине заявляет, что он первый согласен распространить действие декрета на всех чиновников, хранивших драгоценности; но он не может достаточно энергично возражать против именного доноса, ради которого, по-видимому, и было сделано предложение о распространении декрета. «Кажется, уже забывают шесть с половиной дней сентября, — восклицает он. — Забывают, по-видимому, положение Ролана, тягостные обязанности, которые ему приходилось выполнять, опасности, которым он подвергался в эти дни траура... Его обвиняют в том, что он принял на хранение драгоценные вещи без составления протокола. Сначала нужно проверить факт». — «Нужно, наконец, чтобы факты прояснились! — добавляет другой жирондист, Леарди. — Я сам требую, чтобы декрет был применен к Ролану и к приписываемым ему фактам, ибо Марат в сегодняшнем своем листке изображает министра Ролана как оплачивающего убийц и головорезов коронными бриллиантами. Это способ не оставлять министра под этим отвратительным и мерзким подозрением». Гупийо настаивает на том, чтобы декрет был обобщен. «В этом нет необходимости, — замечает Камю. — Закон от 28 сентября объявляет всех государственных служащих, получивших вклады, ответственными за эти самые вклады».

Правая требует отклонения предложения Марата; но другой монтаньяр, приходя на помощь «Другу народа», бросает новые инсинуации против честности Ролана. Это Тюрио, который заявляет, что, как один из комиссаров, назначенных Законодательным собранием для наблюдения за процедурой, начатой против воров Гардероба, он точно знает, что Ролан получил несколько предметов, происходящих из этой кражи, но не знает, был ли вклад засвидетельствован в установленной форме. Он требует, чтобы вещи были переданы в канцелярию уголовного суда вместе с составленными протоколами.

Друг Ролана, Гюаде, быстро разбирается с этим недоброжелательным признанием; он утверждает, что если Ролан и держал одно мгновение в руках часть предметов, украденных из Гардероба, то только потому, что через посредство ювелира, которому он ссудил пятнадцать тысяч ливров, он смог вернуть в казначейство предметы огромной ценности.

Собрание, достаточно осведомленное о клеветнических выпадах друзей Коммуны, наконец принимает вопрос о переходе к очередным делам и таким образом избавляется, по крайней мере на несколько дней, от этого бесконечного обсуждения, которое, постоянно трансформируясь и возобновляясь, поглощало почти все его заседания.

Обновление административных властей, организация департаментской гвардии, представление счетов Наблюдательного комитета, расследование, предписанное для определения объема вкладов, сделанных в Коммуну, — все это сводилось к одному и тому же вопросу: сумеет ли новорожденный Конвент, более счастливый и решительный, чем Законодательное собрание на закате, твердой рукой разорвать путы, которыми Коммуна его опутывает и связывает? Сумеет ли он утвердить национальную волю над волей организаторов сентябрьских убийств?

В самом деле, с открытия сессии новому Собранию едва ли удалось принять несколько декретов общего интереса; все время, которое оно не тратило на борьбу с наглой тиранией мятежной Коммуны, оно посвящало выслушиванию писем генералов, которые защищали шаг за шагом национальную территорию, как мы увидим в следующей книге.

КНИГА XVI. — ОТРАЖЕНИЕ ВТОРЖЕНИЯ.

Австро-прусская армия вошла в Лонгви 22 августа¹. Пока сильные отряды направлялись к Монмеди и Тионвилю, главные силы 28 августа двинулись на Лонгюйон и Этен; захватив оба берега Мааса, они заняли 30 и 31 августа высоты, окружающие Верден.

Город Верден не был в состоянии оказать противнику сколько-нибудь продолжительное сопротивление. Господствуемый с нескольких сторон, он не имел никаких внешних укреплений, а его фортификации находились в очень плохом состоянии². Гарнизон состоял в основном из федератов, недавно прибывших из своих департаментов; в нем было едва ли несколько артиллеристов, способных хорошо обслуживать орудия, установленные на валах.

Уже 31-го герцог Брауншвейгский отправил свою первую ультимативную ноту. В соответствии со знаменитым манифестом от 25 июля, главнокомандующий объявлял всех жителей Вердена ответственными за бедствия, которые могли бы произойти в результате его военных операций; но если они поторопятся открыть свои ворота, он обещает им защиту объединенных армий, единственной целью которых является «привести эту крепость к повиновению Его Величеству Христианнейшему Королю, законному государю Французского королевства, без малейшей мысли о завоевании для самих себя». Он обещал им, кроме того, действия особой щедрости двух братьев Людовика XVI, которые сопровождали его во главе довольно значительного корпуса эмигрантов. Ультиматум был адресован совместно коменданту крепости и жителям Вердена. Его доставил с обычными формальностями парламентар, принятый Генеральным советом Коммуны. После совещания, в котором участвовали командиры гарнизона, было решено дать адъютанту герцога Брауншвейгского следующий ответ:

«Комендант и войска гарнизона Вердена имеют честь заметить Его Светлости герцогу Брауншвейгскому, что оборона крепости была доверена им французским королем, в чьей честности невозможно сомневаться. Вследствие этого они не могут, не нарушив верности, которую они ему должны, а также нации и закону, сдать крепость, пока у них остаются средства для ее защиты; они надеются быть достаточно счастливыми, чтобы заслужить этим уважение прославленного воина, с которым им предстоит честь сражаться».

Этот ответ не предполагал, надо признать, очень горячей приверженности революции 10 августа, поскольку главный аргумент против требования врага был основан только на верности, должной Людовику XVI. Его подписал Бореппер, подполковник 2-го батальона Мена и Луары, которому командование было вверено как старшему по званию офицеру, находившемуся в Вердене. Это был, впрочем, старый военный, прослуживший сорок лет.

За пятнадцать дней до того, как крепости угрожало сосредоточение вражеских армий на границе, исполнительная власть не позаботилась отправить туда генерала с линейными войсками. Этот несчастный город казался заранее обреченным в сознании даже самых осведомленных; так, прокурор-синдик Коммуны Манюэль в самый день, когда крепость была блокирована герцогом Брауншвейгским, официально сообщал парижанам, что Верден не продержится и двух дней.

Бомбардировка началась, как только ответ Бореппера был получен во вражеском лагере (31 августа, в одиннадцать часов вечера). Она вскоре произвела ужасные последствия. Немногие орудия, установленные на валах, были почти все разбиты, а так как запасных лафетов не было, то стало невозможно отвечать на огонь противника; в городе вспыхнуло несколько пожаров. Гарнизон был измучен усталостью, жители охвачены настоящей паникой. 1 сентября, во второй половине дня, после пятнадцати часов бомбардировки, муниципалитет решает отправить депутацию, чтобы просить прусского короля вести войну менее губительно для граждан. Но эта депутация возвращается с новым ультиматумом герцога Брауншвейгского, предоставляющим гарнизону Вердена право отступить с оружием и багажом, оставив только артиллерию

и военные припасы; на принятие этих условий дается только двадцать четыре часа; в случае отказа городу угрожает полное разрушение.

Второй ультиматум герцога Брауншвейгского заканчивается так:

«Коменданты и войска гарнизона Вердена, употребившие имя своего короля как мотив для сопротивления, предупреждаются, что в момент, когда Его Величество Христианнейший король находится в явной власти узурпаторов законной власти, подобный мотив теряет даже видимость разумения»¹.

Прусские угрозы повергают жителей в отчаяние; многочисленные группы собираются на площади Отель-де-Вилия и требуют немедленной сдачи; Генеральный совет Коммуны умоляет оборонительный комитет избавить Верден от ужасов штурма. Комитет собирается и констатирует: 1° что крепость имеет несколько открытых участков, которые не могут быть защищены; 2° что из тридцати орудий, весьма несовершенно установленных на валах, большинство не в состоянии отвечать на огонь противника; 3° что поэтому крепость может быть взята первым же штурмом; 4° что лучше сохранить нации гарнизон в три тысячи пятьсот человек, чем откладывать на день или два неизбежное взятие Вердена. Вследствие этого решают вступить в переговоры с прусским королем и просить некоторого смягчения условий. Но, раз уж есть отсрочка в двадцать четыре часа, хотят использовать ее до конца².

Долг Борепера как коменданта Вердена был выполнен; он полагал, что у него есть еще один долг, который касается только его самого. Он писал своим друзьям в Мен и Луару, что решил сдать крепость только с жизнью³; он хотел остаться верным своему слову. Ночью с 1 на 2 сентября, около трех часов утра, Борепер удалился в комнату, которую занимал в Отель-де-Виле, и выстрелил себе в голову⁴. Его солдаты сбежались и нашли его в луже крови, с разряженными пистолетами рядом; он был в мундире национального гвардейца, на груди был крест Святого Людовика, при нем была еще шпага.

На следующий день гарнизон Вердена покинул крепость, унося с собой тело Борепера; он отступил к Сент-Мену, где присоединился к авангарду армии, с которой Дюмуре собирался попытаться остановить врага в Аргоннских теснинах¹.

II

Герцог Брауншвейгский сохранил свой лагерь на высотах, где он его первоначально разместил, и ввел в Верден лишь несколько батальонов для занятия цитадели. Муниципалитет был сохранен, как и директория округа.

Любопытство привлекло в австро-прусский лагерь большое число жителей всех мнений; но там не было, как часто любили повторять защитники террористического режима, ни бала, ни депутации молодых девушек, ни речей². Прусский король не вступал в Верден. Его сын, принц, иногда приезжал, но всегда как частное лицо. Несколько дней спустя, правда, два брата Людовика XVI, граф Прованский и граф д'Артуа, покинув свою главную квартиру в Эттанже, близ Тионвиля, отправились в Верден и пробыли там некоторое время, но без какой-либо официальной встречи. Их главный агент, Калонн, сопровождал их. Располагаясь в тылу армии, он говорил от имени принцев, которые сами претендовали на то, чтобы говорить от имени своего заключенного брата; облеченный самыми широкими гражданскими полномочиями, он реорганизовывал по-своему страну, занятую австро-пруссакими; он раздавал всевозможные патенты и комиссии от имени законной монархии.

Как бывший министр финансов, он не мог не знать, что деньги — это нерв войны; он не упускал возможности переводить в руки казначея роялистской армии суммы, найденные в кассах округов, и восстанавливал старые налоги по прежним тарифам; сбор этих взносов поручался служащим финансовой администрации, последовавшим за эмиграцией¹.

Со своей стороны, армия вторжения не стеснялась собирать крупные взносы скотом, фуражом и мукой с занимаемых ею населенных пунктов и даже с окрестных городов. В качестве квитанций за эти натуральные поборы она выдавала муниципалитетам и частным лицам

обязательства, подлежащие оплате из государственных касс Франции после восстановления законной власти Людовика XVI.

Именно в связи с этими взносами, требуемыми от коммун, округов и департаментов, герцог Брауншвейгский потребовал, чтобы главы администрации Мааса явились в Верден. Половина этого департамента была занята вражеской армией; его административный центр, Бар-ле-Дюк, был открытым городом, не могшим сопротивляться даже отряду партизан. И реквизиция, адресованная департаментским властям, сопровождалась угрозой военной расправы над всем городом, если названные магистраты не подчинятся немедленно.

При получении такого письма различные власти города Бара спешно собираются и единодушно умоляют председателя Генерального совета департамента, Терно, и генерального прокурора Госсена выполнить грубый приказ главнокомандующего союзными армиями. Те сопротивляются, они не хотят казаться спешащими навстречу захватчикам их страны; но их коллеги с тревогой спрашивают их, как они могут решиться принять на себя страшную ответственность, которая падет на них, если враг осуществит угрозу предать Бар-ле-Дюк огню и мечу. Будь то отказ или повиновение, два администратора находятся между двумя опасностями: Брауншвейг может захотеть сделать из них пример, чтобы запугать магистратов других департаментов, которые он собирается захватить; Национальное собрание может покарать их страшными наказаниями, которые оно установило для властей Лонгви. Крики отчаяния населения, собравшегося под окнами Отель-де-Вилья, побеждают их последние колебания; они отправляются в главную квартиру врага.

Прибыв туда, они узнают, что главнокомандующий рассчитывал на них, чтобы узаконить своими подписями реквизиции, которые он собирается наложить на весь департамент; они благородно отказываются поставить свое имя под документами, которые им предъявляют, и их бросают в тюрьму в качестве заложников.

Из Бар-ле-Дюка Госсен и Терно написали Национальному собранию, извещая о принятом ими решении и о причинах, которые продиктовали его им. Законодательное собрание только что получило официальное известие о взятии Вердена. Под влиянием этой новости и не желая выслушивать защиту двух магистратов, которые в своем письме заявляли, что готовы отдать свои головы Собранию в залог своей преданности отечеству, оно объявляет их изменниками и клятвопреступниками, предает суду, лишает должностей всех членов коммуны, округа и департамента, участвовавших в совещании, которому два главы администрации Мааса сочли нужным подчиниться, и постановляет смертную казнь для любого государственного служащего, гражданского или военного, который подчинится приказам и реквизициям врагов Франции и примет от них какую бы то ни было комиссию¹.

Собрание показывало, до какой степени оно хотело довести сопротивление; но недостаточно было предписать это декретом, нужно было организовать это материально. Дюмуре был уполномочен сделать это.

III

Что отличает великого полководца, так это быстрый взгляд, который на поле боя сразу распознает решающие меры, это способность внезапно изменять свои планы в зависимости от непредвиденных обстоятельств, это непоколебимая стойкость в принятом решении, несмотря на крики невежд, протесты боязливых, клевету завистников. Так действовал Дюмуре, этот гениальный авантюрист, который угадал будущее Шербура, подарил Корсику Франции и собирался увековечить свое имя, спасая отечество на равнинах Шампани. Он был восхитителен своей интуицией, хладнокровием, упорством. Он умел презирать непопулярность, сопротивляться приказам из Парижа и прикрывать столицу, делая вид, что покидает ее.

В момент, когда он получил декрет, вверявший ему командование армией Лафайета, Дюмуре на мгновение заколебался, какой путь избрать. Должен ли он из Валансьена, где он тогда находился, решительно двинуться в самое сердце бельгийских провинций с войсками,

находившимися у него под рукой, и произвести сильную диверсию, или же отступить к объединенным армиям, готовившимся вторгнуться во Францию?

В течение двух месяцев, которые он провел в лагере Мод, он изучал, лелеял, пропагандировал первый план; он лучше знает свой театр военных действий; он уверен в тайных настроениях жителей Эно и Брабанта; он надеется, что крепости Лотарингии задержат объединенные армии на некоторое время и что у него будет время внушить Австрии серьезные опасения за обладание Нидерландами. Но вдруг, ночью с 24 на 25 августа, в его штаб-квартиру прибывает Вестерманн, друг и доверенное лицо Дантона, отправленный сразу после отречения Людовика XVI в качестве комиссара исполнительной власти в армию Лафайета. Вестерманн сообщает о сдаче Лонгви и о марше союзников на Верден. Дюмуре немедленно меняет свои планы и, посвятив несколько часов подготовке бельгийской кампании, которую он не оставляет, но откладывает, он садится в почтовую карету с Вестерманном и одним адъютантом.

Прибыв в Мезьер 28 августа утром, он немедленно отправляет Гальбо на помощь Вердену с двумя первыми батальонами, оказавшимися у него под рукой, снимает укрепленный лагерь, который армия Лафайета занимала перед Седаном в течение нескольких месяцев, направляет большую часть своих войск через Музон и Стенэ вдоль левого берега Мааса и входит в Аргоннский лес, занимая немедленно все пять проходов.

Устроившись в Гран-Пре, в лагере, откуда он может оказать помощь каждому из своих передовых постов, он гордо пишет военному министру это пророческое письмо: «Аргоннские теснины — это Фермопилы Франции; но я буду счастливее Леонида».

Чувствуя, что именно на этом театре будут решаться судьбы новой Франции, он решает оголить границу, от которой только что удалился. Он призывает к себе Бернонвиля с большей частью войск, занимающих лагерь Мод и Пон-сюр-Самбр. Он шлет курьера за курьером в Ла-Фер и Дуэ, чтобы ему прислали боеприпасы, которых у него почти нет. Он приказывает Келлерману, только что сменившему Люкнера на посту командующего Мозельской армией, поспешить форсированным маршем через Линьи и Бар и присоединиться к нему.

У него всего двадцать три тысячи человек, из которых по крайней мере половина состоит из новобранцев, а перед ним плотная масса из восьмидесяти тысяч закаленных солдат. Благодаря его расчетам, благодаря прибытию Бернонвиля и Келлермана его армия утроится, но эти два генерала могут быть рядом с ним только с 15 по 20 сентября. В течение трех смертельных недель, которые предстоят, как сможет он сдерживать старые полки ученика Фридриха Великого? К счастью, между ними и им простирается огромный Аргоннский лес, который, начинаясь близ Седана, заканчивается лишь на некотором расстоянии от Сент-Мену и занимает гребни, отделяющие долину Мааса от долины Эны и ее притоков. Это естественное препятствие Дюмуре использует, чтобы остановить поток иностранного вторжения.

Брауншвейг не может думать о марше из Вердена к Марне, оставляя на своем фланге армию, которая маневрирует в своей собственной стране и может, пользуясь временной поддержкой гарнизонов Седана, Монмеди, с одной стороны, Тионвиля и Меца, с другой, беспокоить его арьергард, перехватывать его обозы и изолировать от складов. Ему необходимо прежде всего выбить противника из лагеря Гран-Пре; но для этого необходимо захватить силой один из пяти проходов, пересекающих лес. Дюмуре охраняет их сильными отрядами, получившими приказ укрываться, устраивая большие засеки, роя волчьи ямы, траншеи, колодцы на всех дорогах. В то же время он обращается с торжественным призывом ко всей энергии патристического населения, окружающего его:

«Граждане, — восклицает он в своей прокламации, — враг продвигается по территории свободных людей. Все ваши запасы пожираются сателлитами деспотов. Я призываю вас, во имя отечества и свободы, обмолотить ваше зерно и доставить его в мой лагерь, отогнать ваш скот и лошадей в тыл моей армии. Если пруссаки и австрийцы продвинутся, чтобы пересечь теснины, которые я охраняю силой, я прикажу звонить в набат во всех приходах. При этом

страшном звуке пусть все, у кого есть огнестрельное оружие, выдвигаются каждый вперед от своего прихода на опушку леса от Шеванжа до Пассавана; другие, снабженные лопатами, кирками и топорами, валят лес на опушке и устраивают засеки... Так вы сохраните свою свободу и поможете нам восторжествовать над теми, кто хотел бы ее у вас отнять»¹.

IV

5 сентября Брауншвейг, овладев Верденом, переправляет свой авангард через Маас. Он направляет первую атаку на позицию Излетт, которую занимает Диллон. Он отброшен и теряет семь дней в бесплодных попытках. Но 13-го, по одной из тех военных случайностей, которые срывают самые искусные расчеты, пост Круа-о-Буа внезапно оказывается обнаженным, так как батальоны, которые должны были сменить другие, не прибыли в назначенное время. К несчастью, принц де Линь в этот момент направляет атаку на этот пункт. Он встречает, естественно, очень слабое сопротивление и немедленно бросает своих австрийцев через прорыв. Тщетно Дюмурье, как только он получает в Гран-Пре это дурное известие, посылает к угрожаемому проходу Шазо с двумя бригадами и многочисленной артиллерией. После ожесточенного боя, стоившего жизни принцу де Линь, Шазо вынужден покинуть позицию; его сообщение с главнокомандующим прервано, он вынужден отступить к Вузье. С этого момента Дюмурье больше не в безопасности в Гран-Пре. С пятнадцатью тысячами человек, которые у него остались, он совершает смелое отступление перед противником и, несмотря на две-три паники, которые время от времени вносят беспорядок в его войска, он разбивает лагерь на плато перед Сент-Мену.

Преследуя Дюмурье, объединенные армии все больше углублялись в страну, не дававшую им никаких ресурсов, а дороги, находясь в плохом состоянии, делали перевозки почти невозможными. Небольшие склады, которые у них были, находились более чем в десяти-двенадцати лье позади них. В штабе герцога Брауншвейгского начинали замечать, что кампания была предпринята весьма легкомысленно, что эмигранты представляли ее как настоящую прогулку из Кобленца в Париж. По мнению этих легкомысленных дворян, не должно было встретить никакого сопротивления; линейные полки должны были быть дезорганизованы и без командиров, батальоны добровольцев готовы бежать при первых выстрелах; население, опьяненное радостью и восторгом, должно было броситься навстречу своим освободителям и на каждом этапе приносить им обильные припасы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.